«Любовь – единственное богатство,
которое приумножается, когда его расточаешь.
Чем больше отдаешь, тем больше остается тебе»

РОМЕН ГАРИ



свет женщины

РОМАН О СИРОТАХ, ТОСКУЮЩИХ ПО ЛЮБВИ

Свет женщины
Ромен Гари

Аннотация
Ромен Гари. Свет женщины
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Аннотация

Все началось со столкновения двух одиночеств на улицах Парижа. Она рассыпала продукты, которые несла домой, а ему нечем было заплатить за такси – незнакомцы, которые просто выручили друг друга. Мужчина и женщина, они столько теряли в своей жизни. Их будто соткали из потерь. Теперь им придется проверить на себе, способно ли тепло другого человека утолить разъедающую тоску. Может, любовь – это единственное, что спасает от одиночества и страха?

Ромен Гари
Свет женщины

1

Romain Gary
Clair de femme

© Editions GALLIMARD, Paris, 1977

Перевод с французского *Нины Калягиной*

© Калягина Н., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

I

Я выходил из такси и, открывая дверцу машины, чуть не сбил ее с ног: пакеты, которые она держала в руках — хлеб, яйца, молоко, — посыпались на тротуар, так мы и встретились впервые, под мелким, уныло моросящим дождем.

Ей, пожалуй, было столько же лет, сколько и мне, или около того. Казалось, черты ее лишь в обрамлении седых волос приобрели наконец некую завершенность, годы подчеркнули и оттенили то, что молодость и природное изящество только робко наметили. Похоже, она запыхалась, как будто бежала, боясь опоздать. Я не верю в предчувствия, но уже давно потерял веру и в свое неверие. Все эти «я больше не верю» — те же убеждения, причем столь же безосновательные.

Я кинулся собирать то, что уцелело, и чуть не упал. Выглядел я, наверное, довольно комично.

— Оставьте…

— Простите… Мне жаль, очень…

Она рассмеялась. Морщинки разбежались вокруг глаз, выдавая возраст, теперь четко обозначившийся.

— Право, пустяки. Что упало, то пропало, мне же легче…

Она уже собралась идти дальше, и я испугался самого худшего — что сейчас мы разойдемся в разные стороны и потеряем друг друга навсегда, во имя условностей и приличий, просто потому что «так положено».

Нас спас шофер такси. Он обратился ко мне, вежливо улыбаясь:

— Извините, месье, мне нужна улица Бургонь…

— Но… мы как раз на ней и находимся.

— Бар на углу улицы Варенн, не подскажете?

— Так вот же он.

— Ну и? Платить-то собираетесь или как?

Я порылся в карманах. Франков у меня не было. Я все обменял в аэропорту, и, когда попытался заплатить долларами, он мне тут же напомнил, что «мы здесь во Франции, между прочим». Я не знал что делать, и эта женщина с седыми растрепавшимися волосами, в широком сером пальто выручила меня — заплатила по счетчику, потом, обернувшись, заметила, скорее с иронией, нежели с участием:

— Похоже, вам не слишком везет…

А я-то полагал, что со стороны это незаметно. Я

не носил летную форму командира корабля, но мне всегда удавалось сохранять в глазах пассажиров и экипажа спокойный вид человека, который все держит под контролем и умеет находить выход из любого положения. Внешность соответствующая: широкие плечи, твердый взгляд. Но теперь я буквально таял на глазах; в наше время, однако, и на проколотых шинах можно проехать сотни километров.

— Вы правы, мадам, сейчас тот самый момент, когда в старых добрых романах человек идет к священнику, и по возможности — к незнакомому.

Развеселить ее мне не удалось. Взгляд мой молил о подаянии, и она не могла этого не почувствовать. Никогда мне не приходилось оказываться в столь беспомощном положении. Когда я спросил потом у Лидии, о чем она подумала в те первые минуты, она призналась: «Я подумала, что одолжила сто франков какому-то проходимцу, к тому же совершенно пьяному, и могу с ними распрощаться». На самом же деле жизнь выбросила нас за борт, ее и меня, и произошло то, что называют встречей.

— Послушайте, я ваш должник…

— Какие мелочи…

— Если позволите, я выпишу вам чек…

Я возвращался из Руасси. Я отправился туда днем на такси, чтобы лететь в Каракас, как и задумал. Я устроился в углу, надвинул шляпу на глаза и так и сидел, слушая объявления о вылетах. Семнадцать лет я проработал в «Эр Франс», и большинство экипажей знали меня в лицо, а я хотел уклониться от любых встреч и дружеских расспросов: «Что это ты, никак летишь пассажиром? Подумать только, полгода отпуска, не много ли? А Янни́к? Ты теперь отдыхаешь без нее?» Я был настолько выбит из колеи, что любое мое решение тут же реализовывалось в действии, совершенно противоположном. Я прослушал объявление о посадке на рейс в Каракас, прошел через зал ожидания, сел в такси и дал шоферу наш адрес на улице Вано. Спохватился я как раз вовремя и попросил высадить меня у бара на углу. И то это было слишком близко. Мы жили в этом квартале не первый год, и меня могли узнать. «В котором часу вы от нее ушли? — В три. Я собирался лететь в Южную Америку, и мой самолет… — Вас видели на улице Варенн в семнадцать двадцать. — Да, я вернулся. — И вы не зашли домой? Вы ведь были всего в двух шагах оттуда. — Нет, я собирался, но передумал. И потом, мы же договорились… — О

чем же? — Мне не в чем себя винить. Что мне еще было делать? — В подобных случаях, сударь, оставаться в живых — низость. Достойнее пустить себе пулю в лоб». В отношениях с самим собой я всегда злоупотреблял иронией. Однако если мне выпало жить дальше, и не один год, придется привыкнуть к таким допросам, и чем скорей, тем лучше. Вряд ли они прекратятся в ближайшее время. И все же единственное, в чем я мог себя упрекнуть, так это в том, что не сел в самолет. Я не был убийцей, который прокрадывается на место преступления. Место… да наш голубой шарик так давно вертится вокруг Солнца, что всем даст фору по части преступлений.

Мы стояли под дождем среди валяющихся на тротуаре продуктов.

— Вот, пожалуйста, нам уже трудно расстаться, — сказал я.

Она рассмеялась, и от прорезавшихся морщинок лицо ее стало совсем добрым.

Кафе называлось «Арис». У стойки сидел человек, очень элегантный, в пальто из верблюжьей шерсти и шляпе борсалино, он держал на поводке серого королевского пуделя, подстриженного,

как парк Ленотра[1]. По случайности, которая, возможно, не была таковой — кто знает, а вдруг в этих музыкальных ящиках все подстроено, чтобы посмеяться над кем-нибудь или, напротив, кому-то угодить, — словом, один подросток попытал счастья, рискнув парой монет, и теперь слушал Шопена.

— Думаю, нам стоит поговорить, иначе все както уходит слишком быстро и неизвестно куда, и потом приходится возвращаться… «Не понимаю, что я делаю в этом кафе с совершенно незнакомым человеком», так?

— Да.

К нам подошел официант.

— Два кофе со сливками, — сказал я и повернулся к ней: — Ну вот, теперь понятно, что мы здесь делаем.

Она улыбнулась не без некоторой жестокости:

— Я только жду обещанный чек, ничего больше.

— Бог мой…

Я достал из дорожной сумки чековую книжку:

— На чье имя?

---

[1] Примечания: 1

Андре Ленотр (1613–1700) — французский архитектор, мастер садово-паркового искусства, создатель «французского» парка с четкой геометрической планировкой. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

— Выпишите на предъявителя…

— Все же я хотел бы знать ваше имя, вдруг пригодится…

— Лидия Товарски.

Человек с пуделем двинулся ко мне:

— Извините меня, месье… мадам… — Клоунским жестом он снял и водрузил обратно свою шляпу. — Я дрессировщик собак, и… у меня такое впечатление…

— Лас-Вегас, семьдесят пятый год, — помог я ему.

Казалось, он обрадовался:

— Вы исполняли номер…

— Нет, я был барменом в «Сэндз».

— Ах да, теперь припоминаю… — Он протянул мне свою визитку: сеньор Гальба, адреса агентств в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. — Когда постоянно путешествуешь, под конец уже никого не узнаешь…

Я молчал. Он понял, сразу как будто забыл все, чем хотел поделиться, опять снял и надел шляпу и вернулся вместе с пуделем назад к стойке.

— Бармен, в Лас-Вегасе в семьдесят пятом, — что вы там делали?

— Ничего. Я там не был. Просто ему нужно было встретить хоть кого-нибудь знакомого, этому

бедолаге…

Она посмотрела на меня с любопытством, но в то же время строго:

— Когда так быстро ставят диагноз «одиночество» незнакомому человеку…

— Не будем так сразу пускаться в откровенности, мадам, — ответил я с подчеркнутым достоинством.

Она опять рассмеялась, ненадолго разогнав окружавших меня призраков.

— Я говорю «мадам», дабы показать, что соблюдаю дистанцию… Мы с вами совершенно друг другу чужие, мадам, и можете не сомневаться, я нисколько не преувеличиваю значимость этих двух чашечек кофе… Только что на улице я вас нечаянно толкнул, выходя из такси, ну и…

— А вы забавны.

— Если бы я только мог развеселить вас хоть на несколько мгновений, мне стало бы легче. Давать поводы для смеха — по-моему, это самый щедрый дар. А как вы, все в порядке?

За окном одна за другой проезжали машины — улица, разумеется, с односторонним движением — и день стоял серый и унылый. Дрессировщик стремительно набирался в баре, так что вскоре ему вообще никто не будет нужен. Пудель смот-

рел на него с мучительным беспокойством: не так-то просто понять человека.

Мы молчали, и вот что решило все: наше молчание не становилось невыносимым. Казалось, что вид у нее какой-то потерянный, но, может, мне просто нужно было на что-то надеяться.

— Извините меня, — начал я. — Я не… Я только…

— Да, вижу. Я, знаете, умею распознавать сигналы бедствия. Представьте, я изучила эту науку. Я потеряла мужа и дочку полгода назад в автомобильной аварии. Что ж, полагаю, теперь мы можем распрощаться. — Она протянула мне руку в перчатке: — Не унывайте. Все еще, может быть, образуется.

— Я думаю вернуться во Францию к началу года и, если вы позволите…

— Да, конечно. Далеко вы?

— В Каракас.

Она долго рылась в сумочке, но так и не нашла ни чем, ни на чем записать. Я сходил в кассу за ручкой, и она написала «Лидия Товарски», адрес и телефон на розовом листке оплаченного счета, шесть франков с мелочью, включая обслуживание. Я положил листок в карман.

Она мило улыбнулась мне на прощание, как

бы говоря, что теперь мы в расчете, и вышла. Я не был уверен, что хорошо запомнил лицо, и догнал ее на улице.

Она обернулась, вопросительно глядя на меня.

— Нет, ничего. Это чтобы узнать вас в следующий раз…

Седые, довольно длинные, до плеч, волосы она носила распущенными, не знаю уж, потому ли, что чувствовала себя молодой, или в память о своей молодости. Высокие, выступающие скулы; черные, необычно широко посаженные глаза, сияющие из темных впадин. Глубокая морщинка на переносице рассекала посередине прямую линию бровей, напоминая птицу, летящую на расправленных крыльях.

Она легко, по-дружески, положила ладонь мне на руку:

— Вам нужно вернуться домой и поспать. Позвоните мне как-нибудь, когда мы оба возвратимся из тех дальних стран, где сейчас находимся.

Подъехало такси, и все было кончено.

Что ж, по крайней мере, полчаса я убил.

Я вернулся в кафе. Ее незанятый стул сиротливо пустовал. На сиденье стояла пепельница. Мой приятель из Лас-Вегаса все еще торчал у стойки, и я решил угостить его чем-нибудь для поднятия

настроения. Кальвадос, к примеру, или тот же коньяк. Верблюжье пальто с высоким воротом, старая шляпа борсалино с широченными полями, лихо надвинутая на правую бровь, волосы, крашенные с особой аккуратностью, чтобы сохранить серебро седины на висках, — он был лет на тридцать старше моих первых воспоминаний: «бугатти», «делаж», а в кино — Джина Мане и Жан Мюра. Внушительный нос, прямо-таки мефистофельский, с горбинкой, и могучие ноздри. В черных оливках его глаз отражалась дряхлость Казановы, а нос, контрастируя с тревожно-тоскливым взглядом, решительно выдавался вперед, как бы в поисках подкрепления. Он исполнял в «Клапси» номер с дрессированными собачками и назавтра, вместе со своей труппой, состоявшей из ассистента, шимпанзе и восьми пуделей, собирался отправиться в турне по Мексике и Южной Америке.

— Это всемирно известный номер. Годы творческих усилий… Труд всей жизни. К сожалению, у меня постоянно сложности со страховкой. Видите ли… — Он приложил руку к сердцу. — Три микроинфаркта. Смрт.

— Как вы сказали?

— Это по-сербски: смрт. Я говорю на семи

языках и должен вам заметить, что у славян, пожалуй, самое подходящее название для этого… Смрт по-сербски, смерть по-русски, смьерчь по-польски… Есть в этом что-то змеиное… У нас, на Западе, совсем другие звукосочетания, более благородные, что ли: *la mort, la muerte,* Tod… Но смрт… Будто какая-то мерзкая тварь ползет по ноге… опасней, чем самый ядовитый скорпион. И вообще, на мой вгляд, люди относятся к смерти чересчур почтительно.

— В английском *death* тоже есть нечто шипящее, — заметил я.

— Точно. Так что же вы делали после Лас-Вегаса?

— Я никогда не был в Лас-Вегасе.

— Да? Значит, это был кто-то другой и где-то в другом месте. Не важно, встречи — это всегда приятно. Приходите сегодня посмотреть мой номер в «Клапси». Я скажу, чтобы оставили для вас столик. Не каждый день встречаешь старых знакомых… Или заходите после, поужинаем. А? Вот моя визитка.

— Вы уже дали мне одну.

— Я живу неподалеку: отель «Кийон» на улице Боз-Ар. В половине первого ночи антракт между двумя отделениями, а мои выходы сначала в

одиннадцать вечера, а потом в час. Наверняка там найдутся какие-нибудь общие знакомые…

— Я сегодня улетаю.

— Куда?

— В Каракас.

Совсем рядом какой-то молодой человек спросил телефонный жетон. Нет, о том, чтобы позвонить, и речи нет. Не могу я признаться, что не улетел, да еще и нахожусь поблизости.

— Приятная дама ваша спутница. Не хочу показаться нескромным… но со стороны это выглядело как разрыв.

— У вас наметанный глаз.

— О, это было несложно. Я сразу сказал себе: дело идет к концу.

— Верно. *Cheers!*[2]

— Будьте! Официант, повторите. Я знал стольких женщин в своей жизни, что, можно сказать, всегда был один. Слишком много — все равно что никого.

— Глубокое замечание.

— Это как раз и навело меня на мысль сделать такой номер… Вы должны посмотреть, он того стоит.

---

[2] Примечания: 2
Ваше здоровье! (*англ.*).

— Как-нибудь, обязательно.

— К сожалению, скоро мне придется уйти со сцены. Эта страховка такая подлая вещь. Они кидают вас при первом же удобном случае. Единственное, что меня беспокоит во всем этом, — мой Мату-Гросу.

Королевский пудель навострил уши и поднял серую лысеющую морду.

— Вы, наверное, заметили, что он не сводит с меня глаз? Как будто понимает, что меня тревожит.

— Смрт, — сказал я.

— Точно. Он боится остаться один. Собаки всегда так тоскуют! А знаете, может, он еще умрет раньше меня, в его-то годы… Ему скоро четырнадцать.

— Ну да! И давно вы вместе?

— Тринадцать лет. Он жил у одной женщины, которую я очень любил. Она сбежала с каким-то каскадером — мальчишка, двадцать два года, — они любят опекать начинающих, это понятно, — и оставила мне Мату-Гросу, чтобы я не чувствовал себя таким одиноким… Он не состоит у меня в труппе: он не артист, просто друг. У меня всего восемь пуделей и шимпанзе. Жаль, что вы уезжаете…

Он порылся в портфеле и вытащил еще одну визитную карточку.

— Вы уже дали мне одну, — повторил я.

Он рад был любому лишнему подтверждению собственного существования.

Он вздохнул. Расплатился в баре. Мы долго жали друг другу руки на прощание.

— Может, еще встретимся где-нибудь… Очень рад был снова повидать вас. Очень.

— Я тоже.

Я вышел и направился к стоянке такси. В машине достал из кармана листок и назвал шоферу адрес. Временами меня охватывала паника, сменявшаяся вдруг полной пустотой, откуда-то выплывали отзвуки смеющихся голосов, вспышки воспоминаний; усталость раскапывала завалы памяти, выбрасывая иногда на поверхность обрывки счастья. Но в основном была тоска, и еще угрызения совести. Каждая минута казалась вырванной из другой, погребенной жизни. Я снял часы, положил их в карман, но стало только хуже. Тогда я снова надел их и застегнул браслет. Было шесть вечера. Я даже не мог понять, то ли все еще только начиналось, то ли, напротив, уже кончено. В данный момент я должен был бы находиться высоко в небе, над Атлантикой,

и, наверное, мы уже были бы довольно далеко, в том месте, которое пилоты называют точкой невозврата.

Старое здание на улице Сен-Луи-ан-Лиль. На почтовом ящике ее имя и приписка: четвертый этаж, налево. Я поднялся по лестнице. Красный ковер, кактусы в горшках.

Она открыла дверь, холодно смерила меня взглядом:

— Я ожидала чего-то в этом роде. Входите.

Гостиная была очень светлая. Из окон виднелись верхушки каштанов. Везде стояли цветы, но не в букетах — должно быть, она покупала их сама. Из соседней комнаты доносилась мелодия индейской флейты, разбавляя одиночество. Задыхающиеся, вымученные звуки, выдуваемые хилыми легкими туберкулезника. Она взяла у меня плащ, дорожную сумку, шляпу и куда-то их унесла. Я осмотрелся: на стенах не было фотографий, наверное, она прятала их где-то у себя. Я сел в серо-зеленое плюшевое кресло. Она вернулась, но садиться не стала.

— У вас нет собаки? — спросил я. — И не надо. Вам это вряд ли поможет. Сейчас все заводят собак. Огромный на них спрос, больше, чем когда-либо. Правда, я об этом в газете читал.

Она рассматривала меня очень внимательно, почти как врач пациента. Интерес вполне оправданный, если принимаешь у себя незнакомца со всеми признаками жертвы кораблекрушения. Наверно, она задавалась вопросом, есть ли еще уцелевшие.

— Вы похожи на человека, которого всю ночь допрашивали на набережной Орфевр. И естественно, у вас нет алиби. Конечно, это не так, но близко к тому. За вами… «хвост»?

— Именно.

— Там, в кафе, я с вами разоткровенничалась. Вы ухватились за первого же попавшегося горемыку. Распознали мгновенно. У меня тоже невесело. Если вас это утешит.

Я смотрел в пол, на синий палас под ногами. Мне хотелось во всем сознаться.

— Вы о моем приятеле из Лас-Вегаса, который сидел в баре? Со старым серым пуделем? Его зовут сеньор Гальба, и он коллекционирует инфаркты. Он очень беспокоится о своей собаке. Боится, что его любимец останется один. Пес не сводит с него глаз, будто знает, в чем дело. Вот сеньор Гальба и набирается под завязку, а собака с тревогой за ним наблюдает… Я подумал, что вам будет интересно это узнать.

— О да! Вы обратились как раз по адресу. У меня магазинчик всяких редкостей на улице Бургонь. Но, к сожалению, мне некуда вас поставить. Вы займете слишком много места.

Когда она улыбалась, вместе с улыбкой возвращалась жизнь: должно быть, в прошлом она была счастлива, и довольно долго.

Она прошла в соседнюю комнату, поставила заново ту же пластинку и усилила громкость, как будто хотела отгородиться от меня, потом вернулась.

— По-сербски это называется смрт и значит почти то же самое, что и ваша индейская флейта. Это мне сеньор Гальба рассказал, он, ко всему прочему, еще и полиглот. Теперь вы все знаете, и я могу идти…

Я подождал немного, но она не отвечала.

— Я не пьян. Просто я люблю одну женщину… Как нам случается любить… иногда. Кажется, мне нет нужды что-либо объяснять вам, вы понимаете. Мы с вами где-то одного возраста…

— Мне сорок семь.

— Сорок три, — поправил я.

Она как будто даже покраснела:

— Как вы узнали?

— Мы всегда все преувеличиваем. Говорим,

что все кончено. Слушаем заунывные мелодии индейской флейты. Живем одни, чтобы доказать — прежде всего себе, — что получится. И все же смотрим на первого встречного так, как будто все еще можно начать сначала. Я бы добавил еще вот что: недостаточно быть несчастными порознь, чтобы стать счастливыми вдвоем. Два отчаяния, конечно, могут вместе составить одну надежду, но это лишь доказывает, что надежда способна на все… Я не за милостыней сюда пришел…

Я лгал, и это тоже был своеобразный способ просить подаяния. Она направилась к двери, я последовал за ней. Взял свои вещи. Она протянула мне руку.

— Надеюсь все же, что мы еще встретимся, — сказал я очень вежливо.

— Все возможно.

— Я должен вам объяснить…

— Ничего вы мне не должны. И потом, я все узнаю из завтрашних газет.

Я вышел. Она смотрела мне вслед, и я чувствовал, что она вот-вот расплачется.

— Странно, вы не похожи на подлеца, — сказала она сорвавшимся голосом и захлопнула дверь.

Мне следовало бы быть настойчивее. Она подала бы мне что-нибудь, непременно.

II

В аэропорту я пролистал свой паспорт. В этом году я уже побывал в Африке, в Австралии, в обеих Америках, и мои визы были еще действительны. Я прислушивался к голосу невидимых стюардесс, не зная, что выбрать: рейс в девятнадцать пятьдесят пять на Камерун, в двадцать три пятьдесят на Эквадор, в двадцать два десять в Бразилию или, наконец, номер в отеле на Монмартре, где я мог бы запереться и спокойно ждать конца. Я выбрал ближайший рейс — девятнадцать пятьдесят пять, Яунде и тропические леса, поменял билет и вернулся на свое место. Бортпроводница, проходившая мимо, как-то странно на меня посмотрела. Наверное, узнала. «Не поверите, только что видела капитана Фолена… Сидит, весь насупился, небритый… Что это с ним?»

«…Я не хочу быть игрушкой, которую разбирают на части, Мишель. Не хочу опускаться до этого. В жизни наступает момент, когда встает вопрос достоинства. Так что уезжай, уезжай как можно дальше, ты обещал. Не теряй головы. Не зарывайся в свое несчастье, не думай постоянно

обо мне, я не хочу, чтобы память изъела тебя… Я должна тебя оставить. Придет другая, и это буду я. Иди к ней, найди ее, подари ей то, что я оставляю тебе, это должно остаться. Без женщины ты не сможешь прожить эти часы, эти годы, эту скорбь, это безумие, которое так льстиво, так высокопарно называют судьбой. Я желаю так же сильно, как люблю тебя, чтобы ты поскорее встретил ее, надеюсь, она спасет то, что было между нами, что не может, не должно умереть. Не бойся, это не будет означать, что ты забыл меня, что ты «предаешь мою память», как благочестиво выражаются те, кто чтит только смерть и отчаяние. О нет! Напротив, это будет торжество верности, гарантия постоянства, вызов всему тому, что хочет нас раздавить. Утверждение бессмертия. Она должна помочь тебе развенчать несчастье, пора перестать его обожествлять. За долгие века своего существования человечество и так оказывало ему чрезмерные почести. Мы слишком покорно, слишком безропотно склоняем голову перед тем, что с таким безразличием принимает наши жертвы, так варварски расправляется с нами. Для меня это вопрос женской гордости. Продолжения жизни, если хочешь. Это бунт, сражение за свою честь, нежелание быть попранной. Иди к ней,

к моей неизвестной сестре, скажи ей, как она мне нужна. Я, конечно, уйду, но я хочу остаться женщиной…»

Я прослушал объявление о посадке на рейс в Яунде, пошел обменял доллары, и вот я опять на шоссе, в такси, везущем меня в Париж. Говоря шоферу адрес, я машинально добавил: «Четвертый этаж, налево».

Он утвердительно кивнул.

— Точно, скоро так и будет, — сказал он. — Французы уже не хотят вылезать из машин. Пока, правда, не все для этого готово. Но, наверно, там есть лифт.

Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида, желая убедиться, что шутка удалась. Я рассмеялся.

Когда мы приехали на улицу Сен-Луи-анЛиль, уже стемнело. Я поднялся по лестнице и позвонил. Зря я отпустил такси: мог бы навестить сеньора Гальбу, который тоже ждал меня. Я уже собирался уходить, когда дверь открылась. При виде меня она изобразила насмешливое удивление, как будто еще нужно было что-то изображать.

— В чем, собственно, дело? Хотелось бы поточнее. Инстинкт охотника? Так вы не там ищете,

если вообще стоит где-либо искать… Здесь вы не найдете ничего. Даже спасательного круга…

Я вошел, обнял ее. Ее ногти впились мне в затылок. Она рыдала. Не из-за меня, не из-за себя. Из-за того, чего каждый из нас лишился. Это был всего лишь момент взаимопомощи. Нам обоим нужно было забыться, переждать какое-то время, чтобы потом нести дальше свой груз пустоты. Нам предстояло пересечь эту пустыню, где сброшенная одежда, каждая вещь, что падает на пол, разъединяет, отдаляет, ожесточает, где взгляды избегают друг друга, боясь заметить наготу — не только телесную, но и ту, где безмолвие прячет свои камни. Два заблудившихся существа, которые поддерживают друг друга каждый своим одиночеством, и жизнь терпеливо выжидает, когда это кончится. Отчаявшаяся нежность, которая, в сущности, только потребность в нежности. Иногда мы искали друг друга взглядом в полумраке, чтобы преодолеть неловкость. Фотография маленькой девочки на ночном столике. Фотография маленькой девочки, которая смеется, — на камине. Портрет, нарисованный, вероятно, по памяти — линии неуверенные, неловкие. То, что было у нас общего, принадлежало другим, но объединяло нас на время этого бунта, этой

краткой битвы против несчастья. Это было не между нами. Но между нами и несчастьем. Отказ ложиться под колеса, отрицание смирения. Я чувствовал ее слезы на своих щеках. Сам я никогда не плакал, и она своими слезами доставляла мне некоторое облегчение. Как только она опомнилась, почувствовав то ли сожаление, то ли угрызения совести, смятение, неловкость, вину, не знаю что, она поднялась, накинула пеньюар, села в кресло и вся съежилась, подтянув колени к подбородку. Еще ни одна женщина не смотрела на меня с такой неприязнью.

— Пожалуйста, уходите…

— Все… сейчас.

Мои вещи валялись на ковре, я стал собирать их.

— Не понимаю, почему я это сделала…

— Маленькое самоубийство, — сказал я.

Она попыталась улыбнуться:

— Да, наверное. Не сердитесь. Бывают моменты…

— Слишком много всего, в особенности того, что можно назвать ничем. Мы могли бы еще немного побыть вместе.

— У меня нет никакого желания быть счастливой.

— Кто говорит о счастье, Лидия? Но вот взаимная поддержка…

— Вы прекрасно видели, что я… ни на что не гожусь.

— Конечно, если делать это как с седьмого этажа бросаться…

— Не будьте так строги…

— Да что вы!

Я засунул галстук в карман. Так мерзко, когда после этого начинают завязывать галстук.

— Когда это случилось?

— Полгода назад. Но никак не проходит… Я иногда думаю, не продлеваю ли это сама… сознательно, чтобы превратить воспоминания в смысл жизни. Иначе… я не знала бы, зачем я вообще еще здесь. Были свидетели той аварии. Они говорят, что муж внезапно потерял управление машиной. Но ехал он с нормальной скоростью. Мне не в чем его упрекнуть. Он посадил малышку на заднее сиденье, как делал всегда… Может быть, уже до того между нами все было кончено, и я ищу предлог, чтобы обвинить его…

Она уперлась лбом в колени, и я видел теперь только ее седые волосы. Потом она подняла голову В глазах опять стояло выражение какой-то загнанности.

— В таких случаях нужно уехать куда-нибудь далеко-далеко, — сказал я.

Наконец-то мне удалось выманить у нее легкую улыбку.

— В Каракас?

— Хотя бы.

— Это слишком далеко, слишком внезапно, и, как вы сами сказали в кафе, потом все равно придется возвращаться…

Она сходила на кухню за бутылкой виски и стаканом.

– *One for the road*[3], — сказала она.

— Чин-чин.

Я выпил. Она смотрела на меня с дружеским участием:

— Давно?

— Что?

— Давно вы сиротствуете без женщины?

Я взглянул на часы.

— Вот уже скоро век, — сказал я и вышел.

---

[3] Примечания: 3
На посошок *(англ.).*

III

Вход для артистов находился в переулке, который заканчивался тупиком, заставленным мусорными баками, перед ржавой металлической шторой ателье фотогравюры. Из проекционной какого-то кинотеатра доносились автоматные очереди и скрежет тормозов. Откуда ни возьмись, появился, громко мяукая, рыжий кот и стал тереться о мою ногу, подняв хвост трубой. Я почесал его за ушком. Он еще немного повертелся возле меня, а потом куда-то сгинул. Я открыл дверь. Швейцар читал газету с результатами скачек.

— Будьте любезны, мне нужен сеньор Гальба. Он меня ждет.

Тот совершенно невозмутимо продолжал выискивать будущих фаворитов. Я ждал, спокойно и учтиво, а он так же спокойно не замечал меня. Неоновый свет ложился ему на лицо фиолетовыми пятнами. Закуток у него был метра два на полтора. Рядом с газетой стояла пустая бутылка из-под вина. Какие-то вещи, изношенные и засаленные, тоже ждали своего часа. Прогорклое одиночество потерянных вещей…

— Вы уже пробовали давать объявление? — спросил я.

Он, похоже, был удовлетворен тем, что его поняли.

— До конца по коридору, после кулис, вторая дверь направо. Вы ветеринар?

— Да, но сейчас я спешу. Я еще зайду к вам, попозже.

Навстречу мне попадались какие-то девицы с голой грудью, карлики-каскадеры. Проходя за сценой, я краем глаза заметил раджу в тюрбане: сплетая пальцы, он изображал на экране профиль Киссинджера. Я задержался на минутку посмотреть: он показывал теперь Граучо[4] с его неизменной сигарой. Театр теней — моя слабость. Я взглянул на часы: ровно одиннадцать. По крайней мере половина пути уже пройдена. Молодой человек с очень длинными волосами и белесой бородкой сидел на стуле, окруженный пуделями. На коленях он держал шимпанзе, обезьяна облизывала палочку от мороженого. Все пудели были белыми, кроме одного — розового. Я остановился.

— Никогда еще не видел розового пуделя.

---

[4] Примечания: 4

Граучо — один из братьев Маркс, знаменитых американских комиков, прославившихся в комедийном кино 30-х годов.

— Чего люди не придумают. Это краска. Сами можете попробовать.

— А где сеньор Гальба?

Он указал пальцем нужную дверь. Сеньор Гальба, совершенно разбитый, утопал в кресле и осторожно вытирал потный лоб платком. Он был во фраке с манишкой, и нос его (возможно потому, что ночью носы всегда кажутся больше) выглядел скорее как орган разведки, рекогносцировки, а не просто обоняния. Нос сеньора Гальбы вышел в дозор.

Пудель лежал у ног маэстро, и лысая морда резко выступала из густой поросли серых кудряшек; глаза у него были впалые, с темными кругами. На гримерном столике, ярко освещенном шестью электрическими лампочками над зеркалом, стояло шампанское в ведерке, бутылка коньяка и еще одна, с минеральной водой. Рядом пузырьки с лекарствами и пепельница, полная окурков. Сеньор Гальба улыбнулся мне, но глаза его смотрели все с той же тревогой: человек, который ждет. Мягким движением руки он любезно указал мне на табурет. Я сел.

— Как в Каракасе? — осведомился он.

— Обещаю, что позабочусь о вашем любимце, — начал я.

Он был пьян, но ему, очевидно, было не привыкать. Он вдруг посмотрел на меня свысока:

— С чего бы? Вам, стало быть, сказали, что это произойдет сегодня?

— Я только хотел ободрить вас.

— Позвольте, сударь, выразить вам свое удивление. Вы входите ко мне с таким уверенным видом и заявляете: «Я позабочусь о вашем любимце», как если бы знали — из достоверного источника! — что сегодня я выйду на сцену в последний раз. Там, в коридоре, вы… кого-то встретили?

— Да вроде никого.

— Ну конечно. Я так привык к этим порядкам в мюзик-холле, что постоянно боюсь опоздать: третий звонок, вовремя выйти на сцену, потом уйти, продолжительность номера, режиссер в кулисах, беспощадно уставившийся на часы…

— Послушайте, Гальба, я только сказал, что позабочусь о вашей собаке. Теперь вы можете умереть спокойно. Все будет в порядке.

— Вы что, издеваетесь надо мной? Знаете вы кого-нибудь, кто умер бы спокойно?

— Но ведь это может случиться и во сне, не так ли?

– *Соño*[5], — ответил он. — Только этого мне и не хватало. Теперь я вообще глаз не сомкну. Кстати, Мату-Гросу — отличный сторожевой пес. Я уверен, что он поднимет лай.

— Ваш номер… Не знаю, как вы справитесь в таком состоянии.

— Ничего не остается. Жизнь, смерть… — Властным жестом он смел эти докучные пустяки. — Я просто говорю все, что должно быть сказано по этому поводу… Вы увидите. Хорошо еще, что меня не понимают, иначе давно бы уже освистали и выгнали со сцены. Публика сочла бы себя оскорбленной. Она не терпит, когда с таким пренебрежением относятся к столь серьезным вещам. Что вы хотите, мы, великие артисты, все до единого обречены бросать бутылку в море. К тому же и моря-то больше нет, остались одни бутылки. У меня есть ассистент, Сванссон, Свен Сванссон — запомните это имя, — молодой швед, он пишет диссертацию по философии в Уппсальском университете о моей жизни и творчестве. Я вам весьма признателен, что вы отложили свою поездку, решив посетить меня. Вот что значит настоящий друг.

---

[5] Примечания: 5
Испанское ругательство.

— Я стараюсь убить время, вот и все, — возразил я. — Вы позволите? Мне нужно позвонить.

Он со спокойной учтивостью указал на телефонный аппарат и поднес ко рту бутылку с коньяком. Пудель не сводил с него глаз и дрожал. Я подошел к телефону и набрал номер. Никто не отвечал. Я сам же и отключил его, уходя: помог всем, чем мог. В зеркале, под электрическими лампами, я видел отражение человека с телефонной трубкой в руке, который два раза подряд набирает один и тот же номер, как повторяют чье-то имя.

Сеньор Гальба поднялся, не без некоторого усилия. Недостаток устойчивости он удачно восполнял умением держаться.

— Работа полиции в аэропортах налажена отлично, — заметил он. — Но если вам нужен, скажем, паспорт, я знаю кое-кого…

— Как вы догадались, сеньор?

Он коснулся кончика носа:

— Глубокое знание порядка вещей в этом мире, сударь. Мы умеем распознать человека, загнанного в угол, мы — мой нос, моя собака и я сам.

Он вышел, пудель тяжело поплелся за ним. Несколько минут я стоял, размышляя о таком заведении, куда бы нас принимали, исследовали

все наши накопившиеся неприятности, наше сознание, угрызения совести, воспоминания, страхи, а потом, нажав на какие-то кнопки, все стирали, оставляя, так сказать, чистый лист. У меня не было ни малейшего шанса выкарабкаться самому по очень простой причине: я слишком сильно любил, чтобы теперь сохранить способность жить, довольствуясь самим собой. Это было абсолютно, органически невозможно: все, что делало меня мужчиной, принадлежало одной-единственной женщине. Я знал, что говорили о нас иногда, говорили почти с осуждением: «Они живут исключительно друг для друга». Меня огорчала язвительность подобных замечаний, отсутствие в них и намека на великодушие, холодное безразличие к судьбе человечества. Счастливая любовь носит наши цвета: у нее наверняка миллионы болельщиков во всем мире. Наше братство обогащается каждой новой вспышкой радости. Смех ребенка или нежность влюбленных светят для всех, всем дают место под солнцем. А любовное отчаяние, которое лишает веры в саму любовь, — довольно странное противоречие. Я отыскал в кармане листок со счетом за два кофе со сливками и набрал номер. В трубке раздался ее голос.

— Я только хотел вам сказать… я должен вам объяснить…

— У вас что, больше никого нет в Париже?

— Приходите. Нельзя же сидеть одной и слушать задыхающуюся индейскую флейту… У них в Андах это нормально, на высоте пять тысяч метров нечем дышать, там можно только подохнуть… Там — да, но не на улице Сен-Луи-ан-Лиль… Я знаю, что, когда встречаются два незнакомых человека, как мы с вами, все кажется возможным… Я ведь тоже достаточно пожил на свете, чтобы остерегаться этих белых пятен, куда можно вписать что угодно… Не беспокойтесь, я не стану говорить с вами ни о любви, ни даже о дружбе… может быть, только о взаимной поддержке… Нам нужно… развеяться, обоим… Да, именно развеяться… чтобы забыть…

— Послушайте, Мишель… Это ведь вы?..

— Да, это я. Помните, я вас толкнул, выходя из такси, и…

— Вы пьяны от горя. Что еще произошло?

— Я не смог уехать. Я пообещал ей уехать далеко, чтобы не сорваться в любую минуту и не броситься туда, к ней… И не смог. Я, что называется, слабый, а у нас, когда мы любим женщину, слабость превращается в такую… силу, что… и

вот, когда она должна умереть из-за каких-то… технических причин, да, из-за каких-то отвратительных причин, связанных с органами… потому что слишком поздно заметили и… Я вам уже говорил, что для нас, слабых, любовь, эти расставания навсегда по не зависящим от нас обстоятельствам, эти, по сути, злоупотребления властью… вызывают угрожающую лавину… нежности. Думаю, вы сильная женщина, не могу утверждать, я вас почти совсем не знаю; вот, хочу извиниться, что побеспокоил. Я только и могу, мадам, — заметьте, я опять обращаюсь к вам «мадам», чтобы еще раз подчеркнуть, что мы с вами совершенно чужие друг другу, — я только и могу, что признать свою слабость, потому что сила, мадам, думаю, она не на стороне слабых — видите, я острю, я еще способен на иронию, а значит, не все потеряно…

Молчание. Я подумал, что она повесила трубку. Сильная женщина. Потом услышал ее голос:

— Где вы?

— У сеньора Гальбы, в «Клапси»… Сеньор Гальба, помните, которому не везет со страховками…

— Ждите меня в баре. Я еду.

Я сел за гримерный столик. Шесть выпуклых электрических ламп, бутылка коньяка. За всех

влюбленных! За короля! Человек, потерявший женщину-родину, составлял мне компанию по ту сторону зеркала. Он, другой я, изгнанник. Тебя лишили твоей страны, старик. Твоих рек и озер, твоего неба, твоих полей, твоих садов. Но во всей моей стране не было убежища более надежного и верного, чем ее волосы — куда лучше всех моих детских тайников. Когда я видел эти белые локоны, то проживал такие моменты, о которых невозможно говорить иначе как о последней истине, смысле жизни, распространявшемся на все вокруг, даже на то, что ее не касалось, как будто мне было ведомо, от каких утрат, каких лишений стали острыми шипы и твердыми — камни. У меня была родина — женщина, и мне нечего было больше желать. Голос моей любимой, казалось, сотворен самой жизнью для собственного удовольствия; полагаю, жизнь тоже не может без радости: взгляните хотя бы на полевые цветы, какие они веселые — с садовыми не сравнить. В наш дом в Бриаке время не входило, всегда покорно ожидая за порогом; этот ревнивый страж был так хорошо выдрессирован, что принимался лаять, только когда она, отправившись в поселок, долго не возвращалась. Я попросту хочу сказать, что те пути, которые

преодолевала каждая пара с начала мира, могут составить самую старую, самую исхоженную дорогу на земле. Я говорю о счастливом отсутствии всякой оригинальности, потому что счастью нет нужды выдумывать что-либо. Ничто из того, что нас объединяло, не принадлежало только нам, это не было что-то необычное, единственное в своем роде, редкое или исключительное; было постоянство, нечто непреходящее, был наш союз, старше любой памяти человеческой. Не думаю, чтобы вообще существовало счастье без привкуса незапамятной древности. Хлеб, соль, вино, вода, ветер, огонь, двое, и каждый — земля, и каждый — солнце.

— Я часто думаю, что бы с нами было, если бы мы не сошлись…

— То есть не переспали бы?

— Столько мужчин и женщин не находят друг друга! И что с ними происходит? Чем они живут? Ужасно несправедливо. Я даже думаю, что, если бы я тебя не узнала однажды, я бы всю жизнь тебя ненавидела.

— Именно поэтому вокруг столько ненависти. Мы постоянно видим людей, которые ненавидят всех тех, с кем им не посчастливилось встретиться, это еще называется дружбой между

народами.

— А в шестьдесят, когда я состарюсь?..

— Ты, твой живот, твоя грудь, твои бедра?..

— Ну да. Это же ужас! Нет?

— Нет.

— Как это «нет»? Когда я буду старой каргой?

— Не бывает такого, бывают истории без любви.

Наши ночи были островами. Мои губы свободно гуляли по пустынным пляжам горячего тела. Я боролся со сном: этот воришка отнимал у меня бесценные минуты.

— Не слышу, Мишель. Ты уткнулся носом мне в шею, ворчишь что-то, шепчешь. Что еще?

— Р-р-р-р.

— Изволь объяснить нормально, в чем дело, раз уж разбудил меня.

— Я ничего не говорил.

— Не говорил? Ладно. Что же это за мурлыканье в таком случае?

— Если я не кошка, уж и помурлыкать нельзя?

— Не можешь уснуть?

— Почему? Могу. Но не хочу. Рядом с тобой слишком хорошо.

— Ну, иди сюда, ляг, вот так, теперь спи.

— Янник, как это возможно, столько лет про-

шло, а это осталось в нас нетронутым, как в первые дни? А ведь говорят, все проходит, ломается, надоедает…

— Да, у тех, кто только и может, что прийти, испортить и бросить…

— Что с нами, с тобой, со мной? Проблемы семейной пары и все такое?

— Проблемы семейной пары? Что за ерунда! Либо есть проблемы, либо — пара.

— Быть вместе — это кажется порой так сложно, даже мучительно, все не клеится, утекает. И в один прекрасный день смотришь — а ее и нет, пары-то…

— Слушай, Мишель, что тебе взбрело будить меня среди ночи и говорить о каких-то мифических проблемах семейной пары? Твой бедный желудок не может справиться с паэльей?

— Я хочу знать, почему у нас нет этих проблем, черт возьми!

— Бывают неудачные встречи, вот и все. Со мной такое случалось. Да и с тобой тоже. Как, по-твоему, люди могут отличить настоящее от поддельного, когда подыхают от одиночества? Встречаешь человека, пытаешься представить его интересным и полностью выдумываешь его, наделяешь качествами, которых у него нет и в по-

мине, закрываешь глаза, чтобы лучше его видеть, он старается выдать желаемое за действительное, ты тоже. Он смазливый дурак? — ты находишь его умным. Он считает тебя недалекой? — зато рядом с тобой он семи пядей во лбу. Заметил твою отвислую грудь? — не страшно, он найдет это своеобразным. Ты начинаешь чувствовать, что здесь пахнет деревенщиной? — надо ему помочь. Он необразован? — твоих университетов хватит на двоих. Он хочет заниматься этим без передышки? — он тебя так любит! Он не слишком в этом силен? — что ж, это не самое главное в жизни. Жмот, каких свет не видел? — у него было трудное детство. Хам? — просто держится естественно. И ты продолжаешь отбиваться руками и ногами, лишь бы не замечать очевидного, а оно уже режет глаз. Вот это и называется «проблемы семьи», одна проблема, строго говоря, когда мы не в состоянии дальше выдумывать друг друга. И тогда приходит время тоски, обид, ненависти, мы пытаемся склеить разбитое — ради детей или просто потому, что предпочитаем терпеть что угодно, лишь бы не остаться в одиночестве. Все. Спи. Ну вот, я сама себя так запугала, что теперь не смогу уснуть. Включи-ка свет на минутку, хочу посмотреть на тебя. Уф! Это в самом деле ты.

Я смеялся, вспоминая. К тому же в бутылке оставалось еще немного коньяку. «Двадцать пять лет, Мишель, я жила, дышала, думала, не зная тебя, — чем я жила, чем дышала, что это были за мысли без тебя?..» Я заучивал наизусть эти письма, которые она посылала мне с воздуха и из разных аэропортов, «обрывки вечности», как она их называла, столь старыми и избитыми казались ей ее слова. Слова, дошедшие из других времен, звенья цепи, уходящей в глубь веков, избитые фразы, да, ты была права, простейшие сигналы, — как признаки жизни, которые мы так жаждем отыскать на других планетах, — азы, находящиеся под угрозой забвения из-за потери смысла, когда вы ищете глубины, а находите одни пропасти. Ночами, сидя в кресле пилота, я слушал нашептывание древнейшего рассказчика у себя в груди; те же, кто потерял память, теперь не могут даже расслышать нашего старого суфлера. Люди высокого призвания, вы спрашиваете, зачем вы здесь, что все это значит и почему вообще существует мир, — сколько же великих и знаменитых кричали об этой своей утрате элементарного понимания! — вы пытаетесь уверить нас, что эти вопросы ставит Вселенная, тогда как это всего лишь вопросы из тех сфер, где нет женских губ.

Конечно, всему есть физические пределы, приходилось разъединять наше дыхание, отрываться друг от друга и расходиться в разные стороны, раздваиваться и расставаться, в таких случаях всегда теряешь… Если у тебя два тела, непременно наступает момент, когда остается только половина.

— Разве я захватчица?

— Еще какая, особенно если тебя нет рядом.

Я встал и распрощался со своим двойником в зеркале.

IV

Я поднялся в бар, где было полным-полно японцев, впрочем, может, мне только так показалось, от усталости. Сеньор Гальба как раз был на сцене. Семь белых пуделей и один розовый сидели на стульях, свесив задние лапы, изображая барышень в ожидании кавалера на каком-нибудь балу в супрефектуре. Сеньор Гальба стоял слева: фрак, черная накидка, складной цилиндр, белый шелковый шарф, сверкающая белизной манишка, трость с серебряным набалдашником… Он достал из жилетного кармана сигару и сделал вид, что ищет спички. В этот момент на сцену вышел шимпанзе, деловитый, с зажигалкой в руке, и направился обслужить хозяина. Сеньор Гальба предложил ему сигару. Тот взял, откусил кончик и закурил. Затянулся, посмаковал сигарный дым и удалился.

— Во дает, — сказал один японец рядом со мной.

Я удивленно взглянул на него.

— Джексон — самый большой шимпанзе нашей эры, — сказал бармен.

Сеньор Гальба сделал несколько затяжек, потом щелкнул пальцами. Вновь появился шимпанзе, подошел к проигрывателю, стоявшему на изящном столике, покрытом бархатной скатертью, и нажал на кнопку. Раздались звуки пасодобля, шимпанзе направился к розовому пуделю, сидевшему в кругу других пуделей, и пригласил его на танец. Розовый пудель соскочил с табурета, секунду постоял, переминаясь на задних лапах, и шимпанзе подхватил его за талию; тут я поспешил опрокинуть одну за другой сразу две рюмки коньяку, так как вид черного волосатого шимпанзе и розового пуделя, танцующих пасодобль *El Fuego de Andalusía*[6], показался мне слишком явной и циничной насмешкой. Японцы смеялись, и белизна их оскала лишь подчеркивала темноту. Я облокотился на стойку, отвернувшись от оскорбительного действа, и встретил сочувствующий взгляд бармена:

— Вам плохо, месье?

— Ничего, пройдет, как только все это закончится.

— Сеньор Гальба считает этот номер творением всей своей жизни.

---

[6] Примечания: 6
«Андалузский огонь» *(исп.).*

— Преотвратно, — заключил я.

— Совершенно с вами согласен, месье.

И все же этот ужас притягивал мой взгляд. Было что-то вызывающее, издевательское, почти враждебное в «творении» сеньора Гальбы, То, что это было «творением всей жизни», ничего не меняло; напротив, язвительные нотки лишь усугубляли все, что было в нем циничного и оскорбительного.

Пудель и шимпанзе носились вдоль и поперек по сцене, в свете прожекторов, под дробные звуки пасодобля *El Fuego de Andalusía*.

— Бытие и небытие, — начал бармен. — Неаполь в пламени поцелуев[7].

— Отстаньте. И без того тошно.

— Никогда не видел, чтобы шимпанзе с пуделем танцевали пасодобль, что-то новенькое, — произнес мой сосед-японец с сильным бельгийским акцентом.

Я взглянул на него:

— Вы из Бельгии?

— Нет, почему?

— Так, ничего. Это, верно, что-то со мной… Еще один коньяк, пожалуйста.

---

[7] Примечания: 7

Намек на одноименный французский фильм (реж. Аугусто Дженина, 1937) и песню из этого фильма в исполнении Тино Росси.

— Не нужно бояться заглянуть в самую суть вещей, — сказал бармен.

— Почему он выкрасил его в розовый, этого пса?

— Жизнь в розовом цвете, — предположил бармен. — Немного оптимизма.

— Но почему пасодобль? Существует ведь вальс, танго, менуэт, классические балеты, наконец. Ну правда, есть из чего выбирать!

— Вы правы, — согласился бармен. — Действительно, этого — хоть отбавляй. Мне лично нравится чечетка. Но понимаете, сеньор Гальба — он испанец в душе. Коррида. Сверкающий костюм тореро. Жизнь, смерть, *muerte*[8], и все такое.

— Смрт, — вставил я.

— Что?

— Смрт, ползет по ноге, опаснее, чем ядовитый скорпион, вот и все.

— В жизни не видел лучшего номера дрессировки, чтоб мне провалиться! — воскликнул японец с бельгийским акцентом.

Бармен, вытирая стакан, спокойно возразил:

— Это как посмотреть. Всегда можно сделать

---

[8] Примечания: 8
Смерть *(исп.).*

лучше. Нет предела совершенству. Вы немного опоздали, тут недавно другой номер был. Человек-змея. Он складывался совершенно противоестественным образом, так что даже смог уместиться в шляпной коробке. Каждый изворачивается как может.

Бутылки стояли в ряд вдоль зеркала, и я видел, как шимпанзе с пуделем танцуют у меня за спиной. Еще я видел свое лицо, почти не изменившееся. Всегда думаешь о себе лучше, чем оказываешься на самом деле.

Я спросил у бармена жетон, спустился в подвальный этаж и позвонил Жану-Луи. Я не виделся с ним месяцев семь. Я избегал друзей, дружба неминуемо ведет к разговорам. Янник не хотела ни расстраивать близких, ни вызывать у них сочувствие. И мы решили, что, кроме ее брата, никому ничего не скажем. В таких случаях поведение друзей, даже самых искренних, превращается в нелепый ритуал, где чередуются робость, тревога, неловкость, они усиленно это скрывают, стараясь держаться как можно более естественно и непринужденно, что в конце концов становится невыносимо. Десять лет Янник работала стюардессой на рейсах в Индию, Пакистан и Африку. «Там мне было бы легче, — го-

ворила она. — У нас люди разучились умирать». Вот мы и решили никого не беспокоить. Однако брата все же нужно было поставить в известность; не то чтобы они были сильно привязаны друг к другу, но она очень любила родителей, а он был единственным живым напоминанием о них. Ничего особенного он из себя не представлял, ограниченный малый, в постоянных мечтах о новой машине, а поскольку Янник была красивой, веселой и счастливой, мне всегда казалось, что он злится за это на сестру, как если бы она отобрала причитающуюся ему долю наследства. Узнав о ее болезни, он сразу засуетился, стал говорить о каких-то чудесных операциях — их делают на Филиппинах прямо голыми руками, об одном своем друге — его отец прожил после этого еще десять лет, о сенсационных исследованиях — они должны вот-вот увенчаться успехом; словом, не захотел ничего знать и повел себя как последняя свинья — из тех, что готовы сулить любые надежды, лишь бы их оставили в покое. Он даже проторчал два дня в Институте радиологии и прошел полный медицинский осмотр: он, видите ли, где-то слышал, что это наследственное. «Ничего, купит новую тачку и успокоится, — сказала тогда Янник. — В сущности, я выбила его

из колеи». Итак, я постепенно отдалился от всех своих друзей, взял в «Эр Франс» отпуск на полгода и в настоящее время находился в подвале «Клапси», среди хаоса, который, кстати, можно было расценить и как высшее милосердие: он освобождал меня от необходимости платить по счетам реальности.

— Да, алло…

Я его разбудил.

— Это я, Мишель… Дружба, сплотившая нас за двадцать лет полетов во все концы света…

— Ну, ты нахал, шесть месяцев прошло, больше…

— Если бы друга нельзя было оставить на время, это уже не считалось бы дружбой…

— Да, но почему ночью, позволь спросить? Полгода не звонил, мог бы пару часов и подождать… Или что?.. Что-то серьезное?

— Как Моника?

— Прекрасно, все остальные тоже. Что с тобой?

— Она всегда меня жалела, потому что я не могу плакать. Она говорила, что я не представляю, как это хорошо.

Он молчал. Должно быть, голос мой звучал надломленно. Как она сказала? «Сиротствуете без женщины…»

— Мишель, что с тобой? Сейчас же иди домой. Пропал, как в воду канул, а теперь… Да что происходит?

— Пасодобль. Черная обезьяна танцует пасодобль с розовым пуделем.

— Что за бред?

– *El Fuego de Andalusía.*

— Что?

— Ничего. Абсолютно ничего. Мастер-класс дрессировки, только мы не знаем, кто хозяева цирка. Они забрались на свой чертов олимп, на эту гору дерьма и наслаждаются. Каждый должен объять необъятное, это их присказка, они требуют от нас невозможного. Знаешь, тут один так извернулся, что поместился в шляпную коробку. Один из нас, из тех, кто прогибается. Гнусные боги-макаки восседают на олимпе из наших гниющих останков и забавляются. Вот. Это я и хотел тебе сказать. Все мы ходячие шедевры.

— Ты пьян.

— Нет еще. Но стараюсь.

— Ты где?

— В «Клапси».

— Это еще что?

— Ночной клуб, всемирно известный.

— Хочешь, чтобы я пришел?

— Нет, что ты. Я так просто звоню, чтобы время быстрее прошло. Это скоро закончится. А может, уже закончилось.

— Что ты там забыл, в своем «Клапси»?

— Жду одну знакомую, ей тоже плохо. Мы решили создать общество взаимопомощи. Извини, что разбудил тебя.

Жан-Луи молчал. Настоящий товарищ. Помогал мне убить время.

— Как Янник?

— Мы расстались.

— Не может быть. Ты что, смеешься? Только не вы.

— Она ушла от меня сегодня ночью. Наверное, поэтому я тебе и звоню. Мне нужно было кому-то сказать об этом.

— Не верю. Вы были вместе, дай бог памяти… двенадцать, тринадцать лет?

— Четырнадцать с небольшим.

— Я никогда не встречал такой пары, как ваша. Такой…

— Неразлучной?

— Просто не верится! Ну хорошо, поссорились… Только не говори мне, что это окончательно.

— Это окончательно. Она уходит. Мы никогда больше не увидимся.

— В каком она рейсе сейчас? Эй! ЮТА![9] Мишель! Алло! Ты слушаешь, Мишель?

— Да. Я здесь. Извини, что разбудил, но… не было другого выхода. Мы всё долго обсуждали, спокойно… пока наконец это не стало пыткой. Мы решили порвать одним махом. Никакой агонии, никаких незаживающих ран. У нее еще оставалось немного женского тщеславия. Нет, просто гордости, достоинства. Это дело чести — не позволить издеваться над собой. Нас заставляли ходить на задних лапках, надрессировались, довольно. Однажды, старик, мы сами возьмем кнут в руки, и он будет плясать под нашу дудку, этот, как бишь его… какой-нибудь сеньор Гальба. В ней был некий протест, некий… вызов. Честь существует, Жан-Луи. Честь человека, клянусь тебе. С нами не имеют права так поступать. И она не желала быть игрушкой в чьих-то руках, позволить растоптать себя. Конечно, мы могли бы продержаться еще немного. Протянуть еще месяц, неделю. Ждать, пока нас обоих не накроет с головой. Но ты ее знаешь. Она гордая. И мы решили, что я уеду в Каракас, и она тоже отпра-

[9] Примечания: 9

ЮТА (от *франц.* U.T.A. — Объединение воздушного транспорта) — французская авиационная компания, впоследствии поглощенная «Эр Франс».

вится куда-нибудь далеко-далеко…

— Нет ничего более мучительного, чем пара, которая распадается, но продолжает плыть по воле волн, тогда как лодка уже дала течь и вот-вот пойдет ко дну… В таких случаях, конечно, лучше разом покончить со всем.

— Но знаешь, то, что разбивает пару, в итоге еще больше ее сплачивает. Трудности, сначала разделившие двоих, в конце концов их объединяют, а иначе они и не были никогда парой. Два несчастных человека, которые по ошибке диспетчера оказались на одном маршруте…

— Никогда бы не подумал, что ты и Янник…

— Мне самому не верится. Это противоестественно.

— Извини, что я спрашиваю, но… может, есть кто-то другой?

— Не знаю. Совершенно ничего не могу сказать. Я неверующий, ты знаешь, но, может быть, где-то сидит эта сволочь, не знаю…

— Мишель, ты расклеиваешься буквально на глазах… Я тебя спрашиваю, есть ли у Янник другой мужчина.

Я не понимал. Я уже ничего не понимал. О чем он спрашивал? Что я ему ответил?

— Прости, старик… я немного не в себе. Уже не

соображаю, о чем ты говоришь. Правда, извини, что разбудил, но… я пьян. Да, точно, набрался по самое горло. Я не должен был поднимать тебя с постели… Я запаниковал…

— Запаниковал, ты? Забыл, наверно, как у нас загорелись оба мотора? А на борту две сотни пассажиров…

— Да, но гораздо труднее, когда некого спасать…

— Ты правда не хочешь зайти к нам? Тут рядом Моника, можешь сказать ей словечко.

— Нет, все образуется, у меня скоро самолет… улетаю с одной знакомой. Янник очень хотела, чтобы мы летели вместе…

— Женщины, мне их не понять.

— Не говори ерунды, они — единственное, что поддается пониманию и имеет смысл здесь, на грешной земле…

— Она уходит, но не хочет оставлять тебя одного, так?

— Да. Она прекрасно знает, что я не могу жить без нее.

— И посылает вместо себя подружку? Ну, знаешь, у меня одиннадцать тысяч летных часов, но… чтобы на такой высоте!

— Я эгоист. Эгоизм, кроме всего прочего, озна-

чает еще и то, что ты живешь для другого, что у тебя есть смысл жизни.

— Для меня это слишком сложно… Мишель? Ты еще здесь? Тебе нужно поспать, старик.

— Ничего, скоро пройдет, я тут жду кое-кого… Я только хотел тебе сказать, что Янник…

Но я не мог позволить себе эту низость, хоть бы она и принесла облегчение. У Жана-Луи обостренное чувство ответственности. Он не раздумывая бросился бы выполнять свой долг, позвонил бы в службу спасения, и тогда, вместо того чтобы дать одинокому парусснику мирно отчалить, мы бы получили еще месяц-другой этой отвратительной дрессуры, предоставив смерти точить клыки.

— Я только хотел сказать, что если отдал все одной женщине, понимаешь, то это «все» никуда не девается. Если думаешь, что все кончено, когда теряешь единственную любимую, значит, ты не любил по-настоящему. Одна часть меня загнана в угол… но другая уже на что-то надеется. Этого не разрушить. Она вернется.

— Я тебе твержу об этом с самого начала.

— Она вернется. Нет, конечно, она уже не будет прежней. У нее будет другой взгляд, другая внешность. Она даже одеваться будет по-другому. Это нормально, естественно, что женщина меняется.

Пусть она будет выглядеть иначе, пусть у нее будут седые волосы, например, другая жизнь, другие беды. Но она вернется. Может, я только горланю, один, в темноте, чтобы подбодрить себя. Уж и не знаю. У меня немного с головой не то… Я позвонил, я говорю с тобой, потому что не могу думать, а слова как раз и нужны для того, чтобы выручать нас. Слова — они как воздушные шары: удерживают на поверхности. Я звоню тебе, чтобы ухватиться за спасительную ниточку. Янник больше нет, и весь мир стал женщиной. Нет, это не конец. Со мной не кончено. Когда говорят, что кому-то конец, это лишь означает, что он продолжает жить. Нацизм существует и без нацистов, и угнетение продолжается, не опираясь уже ни на какие силы полиции, и сопротивление может быть не только с оружием в руках. Боги-обезьяны пляшут у нас на хребтах под видом судьбы, рока, слепого случая, а мы проливаем кровь, чтобы они могли напиться. Может быть, они собираются там каждый вечер и смотрят вниз, оценивая развлекательную программу дня. Им необходимо смеяться, потому что они не умеют любить. Но у нас есть свое знамя — знамя людей, наша честь. А честь и состоит в том, чтобы отвергать несчастье, это отказ от безропотного приятия судьбы.

Именно об этом я говорю тебе, об этой борьбе, об отстаивании своей чести. Я вспомнил сейчас, с каким достоинством Янник слушала то, что говорил доктор Тенон, — о детской лейкемии, о болезни Ходжкина и прочих напастях, которые уже побеждены: все это относилось не к ней, нет, но к нам. Речь шла о нас. Не знаю, понимаешь ли ты, что значит это слово, оно как вызов, как надежда, как братство. Мы вырвем им зубы и когти, мы сгноим их на этом зловонном олимпе, а на пепелище разведем праздничный костер… Пока, старик, мы еще встретимся, обязательно!

— Мишель!

Я зашел в туалет, плеснул в лицо холодной водой. Я в очередной раз удивился своему отражению в зеркале: ничего похожего на руины, в которых лежала моя душа. Нет, это не лицо побежденного. Изможденное, да, но в глазах, в самой глубине, что-то еще оставалось. Я не говорю — что-то непобедимое. И тем не менее, может, так оно отчасти и было. Люди почему-то забывают, что их жизнь, то, что с ними происходит, — бессмертно.

V

Я вновь поднялся по лестнице и оказался в прокуренной темноте цветных прожекторов — зеленых, красных, белых, в лучах которых роились мириады пылинок. Ее еще не было. На сцене две голые девицы строили из себя лесбиянок, только куда им… Подлинная непристойность была не здесь. Бармен протянул мне стакан воды и две таблетки на блюдце:

— Аспирин, месье?

— В христианском милосердии не нуждаюсь.

Я не видел, как она вошла. В руке она все еще держала ключи от машины. Взбудораженная и как будто сердитая: она явно была не в ладах сама с собой. Молодой человек в сиреневом пиджаке — сейчас он был за бармена, но и у него где-то наверняка была своя, совсем другая жизнь — выжидал, внимательный и покорно-услужливый.

— Так трудно было припарковаться, и…

— Да что вы! А я вот уверен, что там как раз нашлось местечко между двумя машинами…

— Как вы догадались?

— Я прирожденный боец. Хозяин сам себе и

всей вселенной…

Она дружелюбно улыбнулась, но как будто не мне, а маленькому мальчику, каким я был в детстве.

— Хорошо, что вы позвонили…

— Женщина, которая включает музыку, как только остается одна, — это опасно.

— Обожаю признания, — заявил бармен.

— Чего не терплю, так это пьяных барменов, — раздался у меня над ухом голос с сильным итальянским акцентом. — Гарсон, шампанского!

Нос еще вырос.

— Лидия, позвольте вам представить: мой давний друг, сеньор Гальба…

— Мы уже виделись, — сказала Лидия.

— Я не пью на работе, — заявил бармен.

— Хороший мальчик, — сказал сеньор Гальба. — Отсылает все свои сбережения мамочке. Чуткая, нежная, ранимая душа…

— Я пожалуюсь начальству, — сказал бармен.

— Пойдемте ко мне в гримерную. Буду рад составить вам компанию. Ненавижу расставания. Эта собака… не буду утомлять вас своими проблемами… Я жду ветеринара.

— Могу я высказать мнение? — спросил бармен.

— Вы еще слишком молоды, — ответил сеньор Гальба.

— Думаю, вам лучше усыпить этого пса. Вы окажете ему услугу. На днях, когда вам стало плохо на сцене, он описался от страха. Он устал вас ждать. Лучше бы вам его усыпить.

— SOS! Эсэсовцы! — возмутился сеньор Гальба.

Он взял бутылку и удалился с гордо поднятой головой.

— Он венецианец, — пояснил бармен. — Как Пульчинелла Тьеполо…

— Идемте отсюда, — сказала Лидия.

В этот момент я повернулся к черной дыре, где в клубах табачного дыма мерцало зеленоватым: «Выход». Двое, которые только что там появились, смотрели прямо на меня.

— О нет! — Я повернулся к ним спиной.

— Полиция, — сказал бармен. Он протянул мне листок и ручку: — Могу я попросить у вас автограф, месье? Не знал, что мне выпала такая честь — говорить со столь важной персоной…

Они уже стояли рядом.

— Мишель, неужели… Мы думали, ты пропал…

— Я пытаюсь…

— Как Янник?

— Я начал новую жизнь. Познакомьтесь…

— Мадам…

— Господа…

Они снисходительно улыбались. Я был пьян, мил и смешон. Только что я слышал, как один из них сказал: «Мишель, бедолага…»

— Ну, что? Как дела, Робер? Как Люсетт? Дети? А ты, Морис? Держишь форму? Так и надо, молодец. Лидия, позвольте вам представить двух выдающихся бизнесменов, которые постоянно заботятся об инвестициях, о рентабельности, об НДС и о налоговой инспекции. Мы много лет знаем друг друга, и вы понимаете, какую радость я испытываю, снова встретив их. Вы пропустили замечательный номер — пудель и шимпанзе вместе танцуют, но если немного подождать, вы их еще увидите, у них второй выход часа в два ночи. Еще тут есть человек, который пытается свернуться клубком, чтобы поместиться в шляпную коробку, и ему это удается, все как-то выкручиваются. Может быть, вы усмотрите в моей агрессивности признак бессилия, но я вот смотрю на вас, и мне вспоминается бессмертная строка Ламартина: «Лишь нет тебя со мной — и

переполнен мир…»[10]

Им было неловко, но я чувствовал, что симпатии бармена на моей стороне. На сцене начался новый номер, и они воспользовались этим, чтобы ретироваться. На какое-то мгновение всех оглушило гудение микрофона, а потом я почувствовал, как меня взяли за руку, совсем как в детстве. Я встретил ее понимающий взгляд. Грустный и улыбающийся. Она уже успела привыкнуть.

Мы сели в ее машину. Я молчал. Несчастная «мужская сдержанность», которая стискивает вам челюсти… и горло.

— Почему вы не сказали мне… раньше?

— У вас своего — выше крыши. Для меня уже нет места.

— Разве вы не знаете, что несчастья других порой приносят утешение?

— Бывает, но не думаю, чтобы вам это сильно пригодилось.

— Значит, было решено, что вы уедете как можно дальше, но у вас не хватило сил… Вы остались… и бродили здесь, поблизости. И все, что

---

[10] Примечания: 10

Перифраз строки из стихотворения Ламартина «Одиночество». В переводе Б. Лившица звучит так: «Одно лишь существо ушло — и, неподвижен / В бездушной красоте, мир опустел навек!»

вам от меня нужно, — это помочь… пройти через это. Провести эту ночь. Вам необходимо присутствие женщины рядом. Случайно это оказалась я. Не надо, не оправдывайтесь, я на вас вовсе не сержусь. Наоборот. Мне это… близко, понятно. Но почему вы не уехали? Она хотела избавить вас от этого. Или, может быть, она боялась, что, будь вы рядом, ей недостанет смелости… Нет, не думаю. Это была… Это наверняка очень мужественная женщина. В котором часу она…

Я взглянул на светящийся циферблат на панели управления:

— Не знаю. Может, прямо сейчас.

— Как… как именно?

— Снотворное. Не знаю, сколько надо времени, чтобы…

— Вам нужно было забыться… и подвернулась я.

— Да, так. Вы сами это сказали. Мне нужно было отвлечься. Подумать о чем-то другом. Развеяться. Не важно как. Сеньор Гальба, пасодобль, вы… Свинство, конечно.

Она задумалась.

— Как долго вам еще ждать?

— Домработница придет убирать в восемь. У нее свои ключи. Мы можем пройтись по ночным

клубам, заняться любовью, посмотреть семейные альбомы, потом позавтракать где-нибудь… Как раз напротив нашего дома есть неплохое кафе. Когда откроются магазины, мы купим цветы. Вы меня спросите, какие были ее любимые, и я отвечу: «Все». А пока… У вас, случайно, нет клубной афиши? Мы могли бы пойти посмотреть шоу травести. Или вернуться в «Клапси». Вы пропустили самый замечательный номер на свете. Пасодобль. Стоит посмотреть. Последнее слово. Последнее слово обо всем этом, с тех пор как вертится Земля. Или, может, поедем прямо в Руасси и улетим первым же рейсом, вдвоем. Это история любви, Лидия, у нее нет конца. Я слишком любил женщину, чтобы это могло куда-то деться.

Я видел только ее профиль, немного жесткий, с прямыми чертами, и седые волосы.

— Нет, Мишель. Я прекрасно знаю, что вера может свернуть горы, но порой она не приносит ничего другого, кроме этих самых гор, которые надо ворочать. Миссия женщины — к чему она сводится, в конце концов? Помогать мужчине жить. У меня нет к этому призвания.

— И тем не менее вы здесь.

— А вам не приходило в голову, что я, может быть, тоже пытаюсь… забыться?

Из отеля напротив «Клапси» вышла проститутка. Она заметила парочку, молча ждущую чего-то, сидя в машине, и уверенно подошла к нам, как будто зная, что нам нужно.

— Пошли со мной?

— Нет, спасибо, — отказался я. — Дело дрянь, конечно, но не до такой же степени.

— Выслушайте хотя бы, — вмешалась Лидия.

— Извините.

— Ничего.

— Здесь такое часто случается.

— Да?

— И потом, у меня сейчас клиент, он уже должен был прийти, но что-то задерживается. Он выступает с дрессированными собачками в «Клапси», и между сеансами я составляю ему компанию. Он не выносит одиночества. Сердечник, все время боится, что умрет. Поэтому ему необходимо, чтобы рядом кто-нибудь был. Уж не знаю, чего он там себе напридумывал, честное слово.

— Это мексиканское поверье, — сказал я.

— Надо же, я и не знала.

— Смерть ждет, пока вы останетесь одни, и только тогда входит.

— Это мексиканцы?

— Индейцы. Сапотеки. В районе Сан-Кристо-

баль-де-лас-Касас. Очень красивое место.

— Он не говорил, что он мексиканец.

— Нет, он итальянец. Каждый черпает надежду там, где находит.

— Я не знала. Что ж, извините еще раз…

— Ничего.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Она отошла, помахивая сумочкой.

— Может быть, лучше подождать в каком-нибудь более спокойном квартале, — заботливо предложил я.

Лидия включила зажигание и так и осталась сидеть, подавшись вперед, не убирая руку с ключа, глядя прямо перед собой, и я понял, что она пытается разобраться в себе. Профиль женщины с седыми волосами, взгляд незнакомого мужчины — пара из доисторических времен, из Музея естественной истории. С минуты нашей встречи мы точно не чувствовали себя ближе друг другу, чем теперь: нас одновременно охватило острое чувство призрачности всего окружающего.

— Вы что-то говорили о взаимопомощи, дорогой мой. Я принимаю ваше предложение. Нас связывает невозможность, мы могли бы ее разделить. Не знаю, что бы я делала без вас в последние

несколько часов. Сейчас объясню поподробнее. Я люблю одного человека, которого разлюбила и с тех пор пытаюсь любить еще сильнее…

— Я ни о чем вас не спрашиваю.

— Мне все равно, спрашиваете вы меня или нет. Сейчас речь обо мне. Конец света — он не только для вас. Он для всех. Поэтому продолжим. Что ходить вокруг да около. Я вас представлю моему мужу.

— У меня нет ни малейшего желания входить в детали.

— Ничего-ничего. Я уже видела, что вы можете быть забавным. Я собираюсь теперь кое-что для вас сделать. Я покажу вам, как это у других. Пора дать вам почувствовать, что вы… не такой уж уникальный.

Опера, бульвар Осман, бульвар Мальзерб. Только мужа мне и не хватало. Она молчала с каким-то враждебным упорством, как будто торопилась покончить с этим.

— Вы мне сказали, что ваш муж умер.

— Я прекрасно помню, что я вам сказала. По телефону вы мне объявили: «Я должен вам объяснить…» Я тоже должна вам объяснить кое-что. В конце концов, я с вами переспала. И как только вы позвонили, я пришла. Видите, я тоже пытаюсь…

— Я не понимаю, зачем мне идти смотреть вашему мужу в глаза в такой поздний час, — протестовал я.

— Вы почувствуете себя лучше после этого.

Прекрасный старинный дом на бульваре Мальзерб. Чтобы подняться на пятый этаж, мы потревожили древний лифт, который, должно быть, мирно грезил о временах экипажей. Я приоткрыл створку двери, и лифт остановился между этажами. Я присел на скамеечку, обитую пунцовым плюшем.

— Хорошо здесь, правда? Думаю, во мне сидит бес: я еще не расхотел быть счастливым. Конечно, я чертовски устал, нервы на пределе, и еще… вы. Я не знаю, что такое женственность. Может, это всего лишь один из способов быть мужчиной. Но мужчина, свободный от женщины, и женщина, свободная от мужчины, заполняют воздухом свою полужизнь, пока она не раздуется и не займет собою все. Несчастье знает свое дело: независимость, независимость! Мужчины, женщины, государства — все мы настолько заболели независимостью, что даже независимыми не стали, мы стали просто больными. Вроде калек, инвалидов, которые пытаются отыграться и возводят свое увечье и уродство в норму. Браво.

Пусть их наградят орденом «За заслуги в области искусственного дыхания». Мы уже одержали такие сокрушительные победы над природой, что осталось только объявить асфиксию нормальным способом дышать. Единственная ценность независимости — это ее меновая стоимость. Когда бережешь независимость только для себя, то разлагаешься со скоростью световых лет одиночества. Пара, Лидия, да и все остальное — это соединение. Пара — это мужчина, живущий женщиной, и женщина, живущая мужчиной. Вы можете меня спросить, отчего же тогда я не лег рядом с ней, не обнял ее, не ждал последнего вздоха, чтобы сорвать его прямо с ее губ. Я бы пошел за ней до конца, умер бы вместе с ней. Но она хотела остаться живой и счастливой, и в данный момент это значит: вы и я.

— Вы пьяны, просто невозможно.

— Да. Завтра, через два дня, через месяц я посмотрю на вас и спрошу: «Что она здесь делает?» Если вы и в самом деле так думаете, то вам не нужен смысл жизни. Вам еще не приходилось быть до конца побежденной. Вполне вероятно, что мы пойдем ко дну, вы и я. Знаю, трудно построить океанское судно из обломков двух кораблей, потерпевших крушение. Тогда просто предполо-

жим, что вы подобрали на улице человека без сознания. Вы помогли ему провести ночь и следующий день, а потом выставили — ни от кого не требуют подвигов. Но я не верю, чтобы вы до такой степени обессилели и потеряли надежду. Есть уроды, которые чувствуют себя полноценными и без женщины, есть калеки, которые чувствуют себя полноценными без мужчины. Это значит только одно — что мы способны на все, мы еще до Гитлера это знали. Я не говорю, что нельзя жить без любви: можно, это-то и есть самое отвратительное. Органы продолжают функционировать самостоятельно, как часы, и такая видимость жизни может длиться очень долго, до тех пор, пока механизм не сломается и труп не окажется там, где ему и место. Можно также искать забвения и утешения в сексе, жить с кем бог пошлет. Ну скажите же: «Бедный, не спал две ночи, бредит теперь». Проявите осторожность, это всегда хорошее оправдание. Или едемте завтра со мной. Не проходите мимо, не делайте этой глупости только потому, что вы якобы научены опытом. Попробуйте, дайте хоть один шанс невозможному. Вы никогда не задумывались, как оно, это невозможное, устало, как оно нуждается в нас.

Она с дружеским участием смотрела на одер-

жимого, сидящего на скамеечке в лифте между этажами.

— Я, как и вы, Мишель, могу жить случайностями и плыть по течению. Вот почему мы вместе этой ночью. Мы мучительно не хотим признавать, что мимолетность затягивается. Глядя на мои седые волосы, вы не рискуете спрашивать, сколько лет на наших часах. Уезжайте завтра один в Каракас, и я начну верить во встречи.

Она закрыла дверь и нажала кнопку пятого этажа.

— Вот мы и на месте. Не знаю, что вы обо мне подумаете, и я, верно, покажусь вам жестокой, но нам уже давно пора познакомиться.

VI

Меня зовут Мишель Фолен. Мои родители — выходцы из Ирландии; изначально наша фамилия была О'Фолейн, но я родился во Франции, и меня записали уже на французский манер. Я пилот гражданской авиации, рост метр восемьдесят, мне сорок пять, и в данный момент я стою на лестничной площадке пятого этажа старого дома на бульваре Мальзерб рядом с женщиной, которая тоже существует на самом деле. Все это настолько явно, несомненно, живо, что испытываемое мной впечатление нереальности вполне естественно и вызвано как раз избытком реальности. У меня нет никакой особой причины находиться сейчас именно здесь, а не где-нибудь в другом месте; это то, что называют «обстоятельствами»: случайно выбили из колеи, случайно протянули руку. В настоящей жизни не существует автопилота.

Я заметил на стене маленький металлический цилиндр, мезузу, которую верующие евреи вешают у входа в жилище, чтобы Бог мог сразу распознать своих и пройти мимо, оставив их с миром.

За открывшейся дверью показался официант в белом пиджаке, из комнат доносился шум праздника.

— Месье… Мадам…

— Лидочка! Как я рада!

Пожилая дама, низенькая и пухленькая, катилась нам навстречу с распростертыми объятиями и смотрела на Лидию, улыбаясь так, будто счастливее ее на всем белом свете не сыскать. Ее иссиня-черные волосы, разделенные спереди пробором, на затылке были собраны в шиньон, заколотый красивым черепаховым гребнем. Ее элегантность, начиная с платья от Шанель и заканчивая кольцами, браслетами и большими серьгами в форме золотых колец, подчеркивала возраст — где-то за семьдесят.

— Лидочка, дорогуша!

Она схватила Лидию за руку и не выпускала, глядя на нее одновременно с волнением, восторгом и напряжением, что подчеркивал звук дрожащих под смычком цыганских скрипок. Мимо прошел метрдотель, держа в руках поднос с икрой. На стенах висели афиши концертов, отзвучавших уже давным-давно: Стравинский, Рахманинов, Браиловский, Бруно Вальтер, фотографии певцов в оперных костюмах и музыкантов

во фраках, я никого из них не знал, но выглядели они настоящими знаменитостями.

— Он очень беспокоился, очень… Звонил тебе сегодня утром, как всегда… Мы даже думали, что ты больше не придешь…

— Добрый вечер, Соня. Мишель Фолен, мой друг… Мадам Соня Товарски…

Она взяла нас за руки:

— Друг Лидии? Как я рада!

— Мы повстречались в Каракасе, — сказал я.

— Предупреждаю, Соня, он в стельку пьян.

— Ну что ж, всему свое время! Иногда нужно и выпить! Надо жить! Надо чувствовать себя счастливым! Как говорят у нас в России, наливай до краев, чтобы жизнь была полной чашей.

— Пирожки! — вставил я. — Ай да тройка! Волга, Волга! Очи черные! Кулебяка!

Хозяйка пришла в восторг:

— Как?.. Он говорит по-русски! Вы… вы русский? Нет, нет, не отрицайте! Я сразу же что-то почувствовала! Что-то… родное!

— Простите?

— Родное — это русское слово. Что-то… наше! Лидия… он русский!

— Черт, — с досадой сказала Лидия.

— В Париже почти не осталось больше рус-

ских! — сказала Соня. — Их всех депортировали в сорок третьем, после той облавы, помните… Зимний велодром![11] Мой муж так и не вернулся тогда. Идемте, надо выпить за знакомство. Лидочка, так мило, что ты его привела… Я уверена, вы будете счастливы вместе…

Я заметил, что Лидию трясет. Я ничего не понимал и от души был рад этому.

— Перестаньте, Соня. Я украла у вас сына, я знаю. Но добрый Боженька вам его вернул. Есть на небе Бог, который жалеет матерей. Вам повезло.

Соня вся светилась добротой.

— Как ты можешь говорить такие вещи, Лидия? Так нельзя, нельзя… — Она решила объяснить мне: — Мы ведь евреи, вы понимаете…

Я поклонился:

— Очень приятно.

Интересно, что это были за звуки, доносившиеся до нас: стерео или живая музыка? Балалайка, гитара, скрипка. Прелесть.

— Не нужно так говорить, Лидочка. Бог, он добрый. Он видит наши сердца. Он справедливый… Простите ее, она очень несчастна.

---

[11] Примечания: 11

В 1942 г. в Париже оккупанты согнали на Зимний велодром более 13 тысяч евреев, которых затем отправили в концлагеря.

— Это ничего, — подбодрил я ее. — Я здесь инкогнито.

Лидия рассмеялась каким-то истеричным смехом. Я был на пределе.

— Идемте. Я вас представлю нашим друзьям. У моего сына сегодня день рождения. Давайте сюда пальто… Я так рада, что вы смогли прийти вдвоем…

— Соня — прирожденный боец, никогда не сдается, — сказала Лидия.

Тут только я заметил, что где-то оставил свою дорожную сумку.

— Вот видите, вам уже удалось что-то забыть, — улыбнулась Лидия.

Со стен на нас смотрела вся святая Русь: шагаловский раввин, коллекция икон, портреты Толстого и Пушкина, кавказские ковры с кривыми саблями крест-накрест. Сюда бы еще шашлык или бефстроганов, но это, должно быть, еще впереди.

Пожилая дама перехватила мой взгляд:

— Мой муж был из Тифлиса. Бакинская нефть…

— Все забрали большевики, — пояснила Лидия.

Мы вошли. Анфилада из трех залов, запружен-

ных народом. В этой компании не хватало разве что Артура Рубинштейна. Все лица казались мне знакомыми, наверное оттого, что были очень старые, а то, что я узнавал в них, — это всего-навсего рука времени, у которого почерк всегда один и тот же. Трое молодых людей в русских рубахах, в сапогах и шароварах ловко управлялись с блинами и пожарскими котлетами. Представляя меня, пожилая дама каждый раз добавляла с заговорщицким видом: «Друг Лидии», а Лидия молчала, стиснув зубы, как будто в этих словах было какое-то скрытое злорадство. Много говорили о музыке, главным образом о Браиловском, Пятигорском и Ростроповиче. Невысокий лысый господин узнал меня, приняв, конечно, за кого-то другого. Он спросил, нет ли новостей от Николая, и я ответил, что теперь это все труднее.

— Да, — согласился он, кивая. — Он очень изменился. Такая профессия, ничего удивительного. Я сам, посмотрите на меня…

Он вздохнул и пригубил шампанского.

— И потом, все так быстро меняется, — заметил я.

Он пожал мне руку:

— Знаю, знаю. Но последнее слово всегда за преемственностью. Остальное проходит. Кстати,

что вы сейчас делаете?

— Жду, пока это пройдет, ничего больше.

— Как я вас понимаю. Никогда еще времена не были такими трудными для настоящего таланта.

— Засилье легкости.

— Весьма справедливое замечание.

— Никаких критериев, — вставил я.

— Ничего, это вернется. Искусство умеет ждать.

— Вы знаете сеньора Гальбу?

— Признаюсь… Гальба?

— Гальба.

— Он абстракционист?

— Напротив, скорее иллюстратор. У него весьма своеобразное видение жизни и смерти. Немного жестокое, даже грубое, но…

Он призадумался.

— Я не большой любитель искусства, прославляющего грубую силу. Мне противно все, что убивает чувство.

— Позвольте с вами не согласиться. Иногда убить чувство — это вопрос выживания.

Я опрокинул залпом три виски подряд, удерживая официанта за рукав и выставляя на поднос один за другим пустые стаканы. Соня подводила меня то к одной группе, то к другой:

— Идемте, Мишенька, идемте…

Никогда еще не видел такой устойчивой улыбки, интересно, снимала ли она ее хоть на ночь?

— Давно вы знакомы с Лидочкой?

— О, целую вечность!

Она вцепилась мне в руку:

— Я так рада…

— Чему именно вы рады, мадам?

— Зовите меня Соней.

— Так чему вы рады, Соня? Не хочу показаться нескромным, но, может быть, существуют такие поводы радоваться, которые мне неизвестны, и…

Она смотрела на меня прямо-таки с сияющей неприязнью. Я был предъявлен какой-то даме, у которой все было черное: глаза, волосы, бархотка на лбу и еще одна на шее, серьги, платье, кольца, сумочка с блестками.

— Вы, конечно, знаете…

Уж и не помню, когда я в последний раз был в «Плейеле»[12], и теперь никак не мог сообразить, это арфа или фортепиано. Она раздавила мне руку своим пожатием, выставляя напоказ все зубы, какие были, и, обращаясь к Соне, сказала басом, что завтра возвращается в Штаты, на двух-

---

[12] Примечания: 12

«Плейель» — концертный зал в Париже.

сотлетие.

— Это ученица Шаляпина, полагаю?

— Ах, Мишенька, не будьте таким злым…

Я пропустил еще пару стаканов, разыскивая пропавшую куда-то Лидию, и заметил девочку с огромными глазами, которая важно протягивала мне тарелку с ветчиной. Было душно. Люстра слепила глаза. Скоро в Опере будут давать трилогию Вагнера. Кто-то прекрасно знает Рольфа Либермана. Что-то — настоящий скандал. Байрейтский фестиваль полевел. Кто-то уже не тот, что раньше. Слишком много картинных галерей. Видел бы это Беренсон — в гробу бы перевернулся. Нигде нет нормальных гостиниц. Любая опера оторвет его с руками и ногами. Кто-то всегда это говорил. Девочка с важным взглядом вернулась, неся шоколадный торт, она, оказывается, дочка консьержки-португалки. Соня поцеловала ее в лоб. Никогда еще церкви в России не отказывали стольким страждущим. Он достоин первого приза. Нуриев, Макарова, Барышников. Кто-то был самый великий. Можно ожидать всего. Запомните это имя, я редко ошибаюсь. Я заметил Лидию, которая делала мне какие-то знаки с другого конца комнаты; я попытался пробраться к ней, извиняясь направо и налево, нет больше

архитектуры, в Китае всем заправляет жена Мао, «Метрополитен» и «Ла Скала» на грани краха.

— Что, Мишель, вам легче? Вы чувствуете себя… менее одиноким?

Она немного выпила.

— Вы говорили с Соней? Вам, конечно, сообщили, что у меня нет сердца?

— У нее какая-то неизводимая улыбка.

Лидия выглядела изнуренной. Под глазами — чернота. Даже огромная люстра-горилла не могла добраться до этих темных провалов.

— Я так больше не могу. Да, теперь моя очередь. Не знаю, что бы я делала, если бы не встретила вас. У меня нет никакого желания жить.

— Это как раз самый старый способ жить.

— Зря я привела вас сюда.

— Отчего же? Время здесь проходит быстрее.

— Но я обещала, что приду. Соня очень стойкая женщина. Она раз и навсегда решила принимать все так, как есть. Причем с энтузиазмом, потому что, видите ли, это все от Бога. У нее в жизни было столько горя, что теперь ей остается лишь быть счастливой. И потом… «Мы ведь евреи, вы понимаете, это очень, очень давно…» Так давно, что это само по себе уже победа…

Официант протягивал нам блюдо с пирожны-

ми. Я взял ром-бабу.

— Может, я и уеду с вами завтра, если вам так хочется. Увидев Алена, вы поймете, почему я к вам пристала…

— Вы пристали ко мне? Вы? — Я даже рассмеялся.

— Да, я. Когда вы толкнули меня там, на улице, и мы посмотрели друг на друга… О, вы все прекрасно понимаете: стоит только отчаяться — и мы уже готовы поверить во что угодно…

— Жизнь борется до последнего.

— Да, а потом я отвернулась, собираясь уйти… проклятое воспитание. Но у вас не оказалось денег, чтобы расплатиться с таксистом, вы растерялись, и вот, пожалуйста, опять миг абсурдной надежды… Вы были какой-то затравленный, обессилевший…

— Словом, вам крупно повезло.

— Неописуемое чувство: помочь другому, когда сам нуждаешься в помощи… Я оставила вам адрес, ушла, а дома бросилась на кровать, разрыдалась… и стала ждать. Он придет, он придет, я хочу, чтобы он пришел. Как семнадцатилетняя. Не стоит полагаться на седину, на зрелость, на опыт, на все, чему мы научились, на те пинки, которыми нас потчевала судьба, на шепот осен-

ней листвы, на то, что делает с нами жизнь, когда действительно постарается. Нет, это остается, оно всегда в нас и продолжает верить. Вы пришли, но меня парализовала… невозможность. Я получила, что называется, хорошее воспитание, то, которое ставит вокруг нас барьеры. Нужен настоящий сдвиг, чтобы проломить их. Я выставила вас вон. К счастью, вы и в самом деле были в безвыходном положении, и вы вернулись… я с вами переспала. — Жалкая улыбка. — О, хуже некуда. Я была зажата, скована запретами. Наслаждение… куда там… С тех пор как погибла моя девочка, я постоянно пытаюсь доказать себе, что не имею права на счастье. Переспать с вами *ради вас* — этому еще можно найти оправдание: я оказываю поддержку, жертвую собой, это почти нравственно. Но сделать то же *ради себя*… Брр. Мораль давно рехнулась. Получать удовольствие с человеком, которого даже не знаешь, — патология. Неврастения. Истерика. Фригидность — это когда мораль переспала с психологией. Если теряешь смысл жизни, но все-таки пытаешься жить, то чувствуешь себя виноватой. — Она вдруг осеклась, как будто испугавшись чего-то. — Боже мой, Мишель, я совсем забыла…

— Я тоже. Но так даже лучше. Янник хотела,

чтобы я был далеко. Я оказался чуть дальше, чем рассчитывал, вот и все.

Тут появилось блюдо с закусками, но уже после пирожных — ни в какие ворота, и я сухо выговорил за это официанту:

— Полный бардак.

Тот лишь пожал плечами:

— Чего вы ждали, русский вечер…

Какая-то дама преклонных лет подошла попрощаться с Лидией, потому что назавтра уезжала в Зальцбург. Соня подвела прямо к нам трех музыкантов, и они сыграли для нас «Калинку». А я вдруг подумал, есть ли на свете что-либо более жалкое, не считая, конечно, солдатских портянок, чем участь цыганской песни.

— На самом деле это восточные немцы, — шепнула мне на ухо сияющая Соня. — Они перебрались через Стену под пулеметным огнем. Беженцы, как и мы.

Она велела поднести им водки. Княгиня Голопупова интересовалась, где здесь дамская комната. На груди она держала маленького песика и была итальянкой. Соня мне рассказала, что ее муж трижды терял все свое состояние. Старый господин в колпаке внушительных размеров стал говорить мне про Кайзерлинга, Куденхофа-Калержи,

Томаса Манна, а немецкий атташе по культуре подходил то к одной группе, то к другой и всех приглашал на прием в посольство Германии.

— Благодарю вас, но вы ошибаетесь, — объявил я, когда настала моя очередь. — Я не еврей.

Он, казалось, удивился, посмотрел на меня, будто не веря своим ушам, а Лидия расхохоталась. Француз с весьма холеной внешностью, в галстуке-бабочке, сказал мне, что никого здесь не знает и что его пригласили только потому, что он директор музыкальных театров. На этажерке была выставлена коллекция расписных яиц. Кто-то попросил тишины, и Соня прочла вслух телеграмму: Рубинштейн извиняется, что не смог приехать. Я не понимал, почему муж Лидии отсутствует на празднике, ведь это его день рождения. Может быть, здесь есть еще и другие гостиные, такие же, как эта, с толпой еще более приветливых гостей. С другими столами, цыганами, развлечениями, зеркалами. Как, вы уже уходите, дорогая? Постойте, я непременно должна вам представить… Она умирает, как хочет с вами познакомиться…

Я взял из рук Лидии бокал с шампанским, который она уже поднесла к губам.

— Как? Вам, значит, можно, а мне нет? Мне,

между прочим, тоже нужно, для смелости.

— Через несколько часов мы уезжаем. Вам еще надо уладить кое-какие дела, я полагаю. Вы уже достаточно выпили.

— Вчера мой муж пытался выброситься из окна. А у него, кстати сказать, есть телохранитель, который не отходит от него ни на шаг. Здесь вопрос этики: нужно ли оставлять окно открытым или нет? И в какой момент мы более всего безжалостны? Не тогда ли, когда следуем своим принципам? И что значит «жизнь — это святое», если для самой жизни никто и ничто не свято? Я не имею права решать… Потому что теперь не знаю: если бы я помогла ему умереть, то сделала бы это для него или для себя…

Я отправился за шампанским и не без удовлетворения почувствовал себя наконец в гостях. Муж, у которого есть телохранитель, потому что он пытается выброситься из окна, в то время как все празднуют его день рождения; лучезарная мамаша, люто ненавидящая невестку; ай да тройка; директор музыкальных театров; седая женщина, помогающая другой умереть; попробуйте пирога, Мишенька, сама пекла; надо спасать Оперу; сегодня Ницца — место, куда старики приезжают в конце жизни, чтобы лечь в землю рядом со

своими родителями; вы так умеете насмешить; представьте, я собрал все свое мужество и пошел смотреть, не поверите, пор-но-гра-фи-ю; не верю я в эти горячие источники, но, говорят, там есть красивые места для прогулок; несчастная Соня, какое мужество, железная воля…

Лидия стояла, прислонившись к стене, глаза у нее блестели: мы оба перебрали; я поставил бутылку и стаканы на пол.

— Так, думаю, теперь я уже могу туда пойти… Нет, не оставляйте меня, идемте вместе…

У выхода толпились люди, все прощались, чье-то пальто искало своего хозяина, поцелуи в обе щечки, созвонимся, приходите непременно, португальская девочка держит в руках ворох одежды, из-за которого видны только огромные глаза. Я прошел вслед за Лидией по коридору, вежливо пропуская к выходу уже одетых гостей.

— Лидочка… Ты считаешь, это разумно…

Она уже здесь, теребит на шее нить жемчуга. Улыбка стала жестче. Зато Лидия улыбалась не стесняясь. Что было в этой улыбке — печаль, обида или злость — не разобрать, слишком мало света в коридоре. Очевидно одно: эти две женщины отлично друг друга знают.

— Вы упрекали меня, что я не навещаю его,

настояли, чтобы я пришла на этот вечер, а теперь полагаете, что мое присутствие…

— Уже поздно. Ален устал…

Я и забыл про время.

— Вы прекрасно знаете, что он почти не спит…

Соня светилась.

— Сегодня днем он немного вздремнул. Двадцать минут. Доктор Габо очень доволен… Но он еще такой нервный, и лучше бы…

Лидии стоило больших усилий сохранять спокойствие. Поэтому голос ее звучал по-детски:

— Может, это из-за того, что я не одна? Но он ведь никогда ничего не узнает.

— Из-за Мишеньки? Да нет, что ты…

— Что за манера переделывать все имена на русский лад, смешно даже…

— Иногда нужно и посмеяться, Лидочка, больше смеха, больше шуток, чтобы жить дальше. Нет, конечно, это не из-за нашего дорогого Мишеньки… — Ее взгляд топил меня в доброте. Вот что значит настоящая ненависть. — Напротив, Ален хочет, чтобы ты была счастлива, дорогая.

— Прекратите, Соня. И потом, откуда вы знаете? Он вам это сказал?

— Я его знаю. Я знаю своего сына.

— Ну конечно, сердце матери… Бред. Вы пе-

ребираете, Соня. Уже все в курсе, какая вы замечательная.

Соня улыбалась, теребя свой жемчуг:

— Я не сержусь на тебя, дорогая. Я понимаю. Ты очень несчастна.

— О да, мы здесь в храме всепрощения. Прощают Богу, прощают немцам, прощают русским, всем… Йом-кипур круглый год…

— Моей невестке не повезло, Мишель. — Она вернула меня Франции. — Лидия не верит в Бога. Ей нечем жить. А вы?

Я как-то не ожидал подобного вопроса — вот так, прямо в коридоре.

— Не знаю, что и сказать, Соня. Вы застали меня врасплох. На нуле.

— Как, и вы тоже? Врасплох. Жаль.

Я порылся в карманах. Мне казалось, там должно было что-то заваляться.

— На нуле, — заключил я.

— Вы пьяны, Мишенька.

«Мишенька». Меня опять признали.

— Знаете, я ирландец по происхождению. Так вот, есть такая ирландская легенда: Бог купил землю у дьявола и расплатился за нее натурой… Ха-ха-ха!

Губы Сони не дрогнули.

— Извините. — Я был смущен.

— Я попросила тебя прийти, Лидия, потому что наши друзья удивились бы, не будь тебя здесь сегодня вечером. И они очень строго осудили бы тебя. Я не хочу, чтобы все говорили, что у тебя нет сердца…

— Браво! Наконец-то! И посмотрите на эту широкую добрую улыбку, Мишель…

Я сделал последнюю попытку:

— А не пойти ли нам всем в какой-нибудь русский кабак, прямо сейчас?

— Я никогда не осуждала тебя, Лидия. Всегда тебя защищала перед всеми. Ты вышла за моего сына…

— Преступление!

— Ты ему очень дорога.

— Откуда вы знаете?

— Ему иногда удается произнести твое имя. «Мама» он говорит очень легко и естественно. А этим утром я застала его с твоей фотокарточкой в руках. Я не понимаю, почему ты нас так ненавидишь. Он не виноват. Все свидетели аварии это подтверждают. Я начинаю думать, что ты ненавидишь его только потому, что больше не любишь.

Лидия закрыла глаза. На ней было светло-серое

платье и белое боа, совсем не к месту в той обстановке. Тогда я этого не заметил, но сейчас думаю об этом снова, чтобы вспомнить ее получше. Я знаю, что говорю: да, я вспоминаю ее, чтобы забыться. И потом, от всего этого не останется и следа. К чему же тогда весь этот шум, злоба?

— У врачей очень оптимистичные прогнозы. Он уже без особых усилий складывает слова, хоть и беспорядочно. С буквами тоже неплохо, он делает большие успехи. Гласные все получаются. Еще немного терпения — и ему удастся произнести весь алфавит. Без всякого сомнения, обязательно. Бог нас не оставит.

Я совсем уже ничего не понимал и впал в эйфорию.

— Карашо, — сказал я, потому что знал это слово и оно подходило, так как означало, что все в порядке.

Послышался смех — из комнаты, где праздновали, но мне показалось, что он доносится откуда-то сверху, с самых верхних этажей. Какой-то старик растерянно искал, где выход. За последние десять минут я не выпил ни капли и забеспокоился: еще немного — и я начну приходить в себя. Португальская девочка ходила туда-сюда с широко раскрытыми глазами: ей, верно, и десяти еще

нет, а вокруг столько интересного. В одной руке Лидия держала серебряную сумочку, в другой — длинный черный мундштук, но это всего лишь мои безвредные колкости, от обиды. Ветер играет в ее волосах, здесь, на пляже, где я сейчас пишу, а то — лишь воспоминание, воспользовавшееся белой страницей. Официант подошел сказать Соне, что больше ничего не осталось, она ему ответила, что вечер окончен и это уже не важно. Прозвучало еще несколько цыганских «ай-ай-ай», но стыдно никому не стало. Сжатые кулаки говорят лишь о бессилии кулаков; мужество само по себе подозрительно, потому что помогает жить. Двуногие скрипки становятся на колени и молятся, и те, чей голос надрывнее, возводятся в ранг «страдивари». И наверно, где-то тут есть Паганини. Слишком хрупкие инструменты устраняются, так как требуется еще и прочность. И сеньор Гальба среди подобных ему обсуждает качество дрессировки, справа от другого, неведомого нам знатока. Тут большое будущее: нужны жертвы, жертвы. Побежденные упиваются грядущими победами. Острая боль пронзила мой затылок — видимо там, где провели смычком.

Две женщины говорили одновременно, не слушая друг друга: похоже, речь шла об обиде,

слишком большой для одного человека.

— На следующей неделе мы едем в Соединенные Штаты. Они там чудеса творят. Мы должны попробовать все. Мы все живем надеждой.

— Мы живем по привычке.

— Мы должны продолжать бороться и верить, изо всех сил. Мы не имеем права позволить себе пасть духом…

Прошел директор музыкальных театров, принося свои извинения: он перепутал то ли пальто, то ли дверь. Соня обратилась ко мне:

— Я потеряла мужа тридцать три года назад, Мишель. И я давным-давно сама бы уже умерла, если бы не могла чтить его память. Я живу хорошо. У меня машина с личным шофером, драгоценности. Я хочу, чтобы он был спокоен, по крайней мере в том, что касается материальной стороны. Больше всего он заботился о моем благополучии. Он меня обожал. Глядя на меня сейчас, вы, наверное, найдете это смешным…

— Да нет, отчего же, совсем нет, — затараторил я, как будто она поймала меня на лжи.

— В молодости я была хорошенькая. Он очень меня любил. А сейчас нет даже его могилы. Мне некуда пойти навестить его. Мне не нужны ни драгоценности, ни персональный водитель, мне

все равно. Но это для него. Я хочу, чтобы все было так, как он хотел. Это его желание, его память, его забота. Лидии этого не понять, сегодня люди обходятся без смысла жизни, живут так просто, без всего.

Лидия яростно раздавила окурок в вазе с гладиолусами.

— Скрипичный стон, так долог он[13], все, хватит, — сказала она.

Быстрыми шагами она пересекла коридор и, открыв дверь, застыла на пороге, дожидаясь меня. Я с тревогой взглянул на Соню. Мне что-то сильно не хотелось идти к этому мужу и сыну, который скрывался где-то в глубине квартиры и учил алфавит. На этот раз сеньор Гальба явно переборщил, должны же быть какие-то границы и для его шалостей.

Соня взяла меня за руку.

— Чего вы хотите, эта женщина ужасно… не то чтобы резкая, нет, стремительная. Да, именно стремительная. Входите, Мишенька, будьте как дома.

---

[13] Примечания: 13

Начало хрестоматийного стихотворения Верлена «Осенняя песня». Цитируется в переводе И. Булатовского.

VII

Я не ожидал такой резкой смены декораций: русской кулебякой здесь и не пахло. Книжные полки, все очень строго и окутано матовостью синих абажуров. За стеклами книжных полок обязательно должен быть Пруст, да и вся «Библиотека Плеяды». Английские кресла в задумчивой праздности вспоминали былые времена: здесь, конечно, много читали, курили трубку и слушали умные речи. В простенках между книжными шкафами — две безмятежные белые маски в чьих-то нежных руках. Букет цветов на старом-престаром столе и глобус, выпятивший свои океаны, как дряхлый актеришка, поворачивающийся к публике в профиль, лучшей своей стороной, разумеется. Лидия застыла: прическа, лицо, платье, меховой удав… И рядом черная каменная старуха с неистребимой улыбкой. Я слишком многого ждал от усталости: надеялся, что она притупит чувства, а получил лишь рой неотвязных мыслей; впечатление странности только усиливало панику перед надвигающейся реальностью, меня преследовала близость неотвратимого, тревога

сводила на нет все попытки держаться как ни в чем не бывало. И спрятаться некуда. Оставалось принять бой, позволить умереть, но продолжать любить, чтобы продлить жизнь. Чайки, воронье, пронзительные крики, невыносимая боль, последние мгновения, пустынная площадь в Бретани, твой лоб под моими губами, отблеск женщины — и тяжелые веки, борющиеся с собой: только бы не пасть, как пали другие щиты.

На софе в центре комнаты, нога на ногу, сидел человек. Он был, бесспорно, очень красив, надо отдать ему должное, однако лицу его, пожалуй, не хватало выразительности — именно из-за чрезмерной правильности и тонкости черт. Безукоризненная внешность героя-любовника. Но то, что в нем было от смазливого сердцееда, компенсировалось очевидной мягкостью и добротой, которые казались естественными для него, словно врожденная учтивость по отношению ко всему сущему. Лет ему было около сорока, он знал, что нравится окружающим, и в то же время как будто извинялся за это. Между тем я отметил странность его взгляда, который не укладывался в доброе старое определение «взгляд с поволокой» из-за странного отсутствия в нем всякого блеска. На нем был темно-синий блейзер с металличе-

скими пуговицами и тщательно выглаженные фланелевые брюки. Черные туфли, начищенные до блеска. Открытый ворот, аскотский шейный платок синего цвета, белая рубашка. Безупречен. Один из тех людей, которые, что бы ни надели, всегда похожи на картинку из модного журнала. Он сидел совершенно неподвижно и смотрел прямо перед собой, не обращая на нас ни малейшего внимания.

В кресле у зашторенного окна здоровый детина — джинсы, майка, бицепсы, кроссовки — листал комиксы.

— Добрый вечер, Ален.

Ален подождал немного, как если бы звуку требовалось определенное время, чтобы дойти до него, потом как-то резко поднялся. Он стоял, держа одну руку в кармане блейзера, и был чертовски элегантен.

— Мой муж, Ален Товарски… Мишель Фолен, мой друг…

Товарски еще немного подождал, внимательно вслушиваясь в каждое слово, потом поднял ногу, согнутую в колене, и так и остался стоять, непонятно зачем.

— Клокло баба пис пис ничего, — произнес он, вежливо указывая на ковер, как будто предлагал

мне присесть.

— Спасибо, — ответил я, справедливо полагая, что этим ничего не испорчу.

Телохранитель оставил свое занимательное чтение и поднялся.

— Чуть-чуть черта абсенто так так? — предложил Товарски.

Я осмотрелся, но нигде не заметил никаких напитков.

— Гвардафуй пилит плато и шашлык того, — сказал Товарски. — Пулеле, правда. Венсенский полигон?

Разговорчивый, однако.

— Ромапаш и ля ля, гипограмма и лягуш. Кококар побелел, но кракран за… за… пши… пши… за клукла…

Мне все это начинало надоедать. Я знал, что будет веселенькая ночка, но в подобных развлечениях не нуждался.

— Цып-цып, — сказал я. — Каклу каклу. Апси псиа.

Товарски, казалось, был очарован.

— Пуля-дура задела Монтегю, — сообщил он мне. — Кларнет кости и реве ве ве ве.

Соня сияла от счастья:

— Видишь, Лидочка, Ален уже произносит це-

лые слова, очень ясно…

— Попрыгун попевал, — объявил Товарски. — Пшелы шают почему…

— Мы разучиваем вместе басни Лафонтена, — объяснила Соня. — Очень хорошее упражнение.

— Пишины Карпат вечать на уста…

Черт. Это, наверное, были стихи. Я плохо знаю современных поэтов, я остановился на Элюаре. У Лидии слезы стояли в глазах, значит, это было что-то очень трогательное. Но я не умею плакать, и потом, бывают моменты, когда я готов схватить ужас за горло и свернуть ему шею, а чтобы он быстрее загнулся, заставить его смеяться. Иногда смех и есть самая страшная смерть ужасу. Товарски, мне нечего здесь делать. Мне и у себя всего хватает. Полная чаша. «Клапси», пасодобль, дрессировка, двуногие «страдивари» — я уже сыт по горло струнными инструментами. Может, мне далеко до «страдивари», может, в Бейруте умеют лучше держать марку, но из меня вытянули все, что еще оставалось. Бедняга Товарски, я понял его с полуслова. Пресловутая афазия Вернике, как же, знаем. Один мой друг разбился на своем самолете и теперь, вот уже два года, говорит на каком-то только ему понятном языке. Часть мозга задета — и все, полная потеря власти над

речью. Слоги составляются в слова сами собой. Ты знаешь, что хочешь сказать, но то, что в конце концов говоришь… Бесхозные слова громоздятся друг на друга как придется. Но ты уже этого не сознаешь. Долгое время даже не отдаешь себе в этом отчета. Мысль-то, вот она, как и была, ясная, четкая. Просто она не может больше выразиться в нужных фонемах, вот и все. Слова ломаются, деформируются, сливаются друг с другом, выворачиваются наизнанку, пускают фразу под откос, взрывают ее, ничего уже больше не выражают, черт знает что такое. На этом можно было бы даже построить какую-нибудь идеологию. Новую диалектику. Освободить наконец речь от мысли. Насочинить еще сто миллионов слов. И все это сопровождается логореей, причем сам об этом, естественно, и не подозреваешь: ты уже не можешь остановить свое словоблудие, все тормоза сорваны, никакого контроля.

— Мучат индюки, но палочки пополам, — галантно произнес Товарски.

— Спасибо, не курю.

— Мишель!

— Я только защищаюсь, Лидия. Вы привели меня сюда, чтобы доказать, что я вовсе не рекордсмен, но я могу хотя бы защищаться. О да,

в мире есть еще Бейрут, пытки и умирающие от голода дети, но уверяю вас, мне от этого не легче. Признайте также, что не все цепи биологические, есть еще те, которые куем мы сами, и, значит, мы можем их разорвать.

— Легче всего прятаться за общие фразы, — сказала Лидия.

Товарски трижды повернулся вокруг себя. Потом очень низко наклонился, выпрямился, поднял одну пятку, другую. Руки при этом совершали какие-то беспорядочные движения. Он встал на четвереньки. Телохранитель помог ему подняться.

Я держался стойко. Сеньор Гальба, или какой другой наш мастер дрессуры, не мог похвалиться оригинальным трюком. Этим он не снискал бы ни восхищения публики, ни даже жидких аплодисментов в «Клапси». Классический прием. При афазии человек часто не в состоянии координировать свои движения, согласуя их с тем, что он хочет сделать. Он уже не может справиться с самыми обычными предметами, и все жесты у него странные и внешне бессмысленные.

— Хрупящий бизон гладит поло, — сказал Товарски. — Есть мустабак и папик, но митенки потрябят маленьки…

— Да, но у зуавов их полно, — не сдавался я.

Соня была счастлива.

— Ален все лучше и лучше выговаривает слоги, — сказала она. — Профессор Турьян очень надеется…

— Замолчите, Соня, пожалуйста…

Что казалось особенно жестоким, так это красота Товарски. Изящество черт, утонченность, обаяние. Такая сдержанность, элегантность — оксфордский выпускник, ни больше ни меньше; он, должно быть, хорошо учился. И это его выражение любезности, мягкости. Превосходного качества инструмент. Какие волнующие терции можно из него извлекать. Только сейчас я оценил безжизненность взгляда: зрение, вероятно, тоже было затронуто.

— Заметьте, — продолжал я, — я не верующий. Не думаю, что боги-обезьяны делают это намеренно. Достаточно сходить в зоопарк и посмотреть на их потомков, сидящих в клетке, чтобы убедиться: они сами не знают, что творят. И потом, время от времени бывает банан. Кидают нам какую-нибудь подачку, поощряя наше бессмысленное кривляние.

— Немного кака зазатык и соло соло?

Я был за диалог. Хватит молчания и разобщен-

ности.

— Соло, соло, — подхватил я. — И даже громапуй соло.

Лидия обернулась ко мне, дрожа от гнева:

— Прекратите, Мишель.

Но ярость, бессилие и отчаяние, слитые воедино и сдобренные алкоголем, ударили мне в голову. Я знал, что скоро рак сотрут с лица земли и мы вырвем один за другим все гнилые клыки, вонзившиеся в наше тело, но пока что я был побежден и мой голос ни на что не годился.

— Работая баба, работая боно! — орал я. — Нырни в котел с дерьмом, потом скажешь, тепло ли там! Яволь Гитлер гулаг Полкан! Простите, но это все, на что я сейчас гожусь!

Товарски, казалось, все это очень заинтересовало. Может, мои слова дошли до него, не знаю уж по какой гнусной случайности. Случай иногда до крайности непристоен.

— Мило тото мюлю дидья? Мюлю дидья? Дидья тьятья бю лю?

Я закрыл глаза. Дидья тьятья бю лю. Он пытался сказать: Лидия, я тебя люблю. Никакого сомнения. Нет сомнения в чудовищности преступления. Это был подлинный «страдивари», и сволочь Паганини измывался над инструментом.

Я услышал иронию в голосе Лидии:

— Теперь вам лучше, не так ли, Мишель? Вы чувствуете себя немного… не так остро?

Меня мутило.

— Дидья тьяля бябю…

Дидья тьяля бябю. Воля мучительно искала нужного «Лидия, я тебя люблю» и не могла попасть в точку.

Ален Товарски замолчал. Я поднял глаза. На софе возле него лежали тома Жюля Верна, красный переплет серии «Необыкновенных путешествий». А у него был взгляд слепого. Старуха, должно быть, садилась рядом с сыном и читала ему вслух. Он не мог понять, что она читает: до него слова тоже доходили искореженными. Ничего. Она все равно читала ему вслух «Необыкновенные путешествия».

— Тино Росси, — сказал я. — Камю под мандолину, Достоевский под гитару и Данте под барабанную дробь.

Я развернулся и вышел с неописуемым достоинством. В зале еще оставались какие-то гости, они были слишком стары и не могли уйти самостоятельно. Я причалил к столу, к остаткам недавнего пиршества.

— Очень не хватает Спартака, — пожаловался

я официанту.

— Да, все выпили. Я тут спрятал бутылочку шнапса, хотите?

Он налил мне в стакан, но я взял всю бутылку. В конце концов, было всего три часа ночи.

— Нужно разорить закрома, — предложил я.

— Здесь так не принято, месье.

— Нужно закрыть частный сектор несчастья. Да здравствует Китай! Когда вас восемьсот миллионов, каждый в отдельности страдает меньше. Просто надо научиться мыслить демографически.

Я налил официанту:

— Давайте. Из братских чувств. Конец эксплуатации, классовой борьбе, диктатуре пролетариата. А то слишком большое удовольствие для этих, наверху. Железная пята, гладиаторские бои, а того, кто остался в живых, тоже пристукнут, погодите. Ваше здоровье.

Он был еще молодой, с веселым лицом, зеленый совсем. Ему, очевидно, не было и двадцати, он еще мог ждать.

— Заметьте, вы, может, пройдете мимо и вас это не коснется. Жертвы не выбираются, все зависит от случая. Мне приходилось даже встречать счастливых цыган. Есть и грузины, которые жи-

вут до ста двадцати лет, они едят йогурт. Йогурт, старина, — вот все, что надо. Мы не едим йогурт в достаточном количестве, от этого все несчастья.

Он забавлялся. Ему казалось, что я пьян. Молодость, что они понимают.

Я отправился в прихожую и забрал свой плащ и шляпу. Кажется, все. Ах да, моя дорожная сумка. Но ее можно найти. Я как-то сразу почувствовал себя лучше. Я терпеливо ждал Лидию в коридоре. В конце концов, он ведь ее муж. Им есть что сказать друг другу. Шутка. Я порылся в карманах, ища сигареты; забыл, что бросил курить еще два года назад. Янник настаивала, она говорила, что от этого бывает рак. Когда обе женщины вышли ко мне в коридор, я все еще чему-то смеялся. Усталость мне очень помогла, вытянув из меня последние силы; во всем теле, в крови я вдруг почувствовал прилив доверия, уверенности, они поднимались во мне, как тихая песня. Я вовсе не так наивен, я понимал, что это всего лишь второе дыхание, подачка, чтобы поощрить меня. Да, я буду продолжать. Каждый из нас знает, что он рожден для того, чтобы быть побежденным, но мы знаем также, что никому и никогда еще не удавалось и не удастся победить нас. Кто-нибудь другой, не важно кто, где и в каком заоблачном

будущем разобьет наши цепи, и мы сами нарисуем себе на ладони линию будущего.

Лидия шла вся в слезах. Соня заботливо поддерживала ее под руку.

— Извините ее, Мишель. Лидия… да и вы тоже, пожалуй, не привыкли к такому. Сегодня все хотят быть счастливыми… все, даже евреи! Мы, старики, научились…

Лидия высвободила руку, как мне показалось, несколько резко. Ей не хватало почтения к старости.

— Это правда, Соня. Вы научились. Вы так с этим свыклись, страдание для вас теперь вторая натура. Оно заменяет вам смысл жизни. Я забрала у вас сына, и десять лет он был со мной счастлив. Кощунство! Теперь несчастье вернулось к вам. Все встало на свои места. Вы знаете, зачем вы живете: чтобы доказывать свое мужество. Замечательно. Теперь несчастье восстановлено в правах. Нашу семью истребили не напрасно.

— Не слушайте ее, Мишель. Ей неизвестно… то, что узнали мы, старики. Все сегодня требуют счастья. Это у них пройдет.

— Страдайте, доверьтесь мне, не откладывайте на завтра, начинайте собирать цветы слез прямо сейчас… Вы знаете, она читает ему вслух Жюля

Верна, эта…

— Лидия, — прервал я ее, опасаясь худшего.

Соня светилась.

— Ему очень нравился Жюль Верн, когда он был маленьким. Да это и не важно, что читать. Он плохо понимает слова. Но он слышит мой голос.

— Вам выпала большая удача, Соня. Я украла у вас сына, но жизнь вам его вернула. Благодаря дорожной аварии. Есть в мире справедливость. Я потеряла мою маленькую дочку, зато вы вновь обрели своего сына…

— Ну, хватит, — вмешался я. — Мы во Франции все-таки.

— Лидия не злая. Она просто не привыкла к несчастью.

— Да, я плохая еврейка. Знаете, Соня, если когда-нибудь ваша нога ступит на землю Израиля, вас либо поместят в музей, либо выгонят вон.

— Ей не понять, Мишель. Она бунтовщица.

— Слышите? Бунтовщица. Худшее из оскорблений. Нет, в самом деле, это бесподобно. Приятие, подчинение, покорность. Кто это сказал, что евреи не христиане? Идемте отсюда. Если когда-нибудь, слышите, Соня, я буду счастлива, обещаю, я пешком отправлюсь на богомолье в Лурд, чтобы исцелиться…

Соня долго не выпускала мои руки:

— До свидания, Мишенька, до свидания… Позаботьтесь о ней как следует…

Она твердо взяла меня под локоть и не отпускала, пока я не оказался за дверью.

VIII

Сидя в машине, безразличная ко всему, закрыв глаза, положив голову на приспособление, специально для таких случаев предназначенное, она молча ждала, пока вокруг нас суетилась команда невидимых помощников, что с таким вниманием опекают чемпионов, слушают стук их сердца, направляют шаги, исполняют их желания, протирают лобовое стекло, заправляют полный бак и желают удачного продолжения.

— Я, конечно, вела себя гнусно, но зато мне полегчало. Где это, Каракас? Еще мне предлагали работать в Организации помощи беженцам, в Бангкоке. Я позволила себе сорваться, знаю. Интересно, в какой момент превращаешься из просто несчастной женщины в злобную стерву?

— Спросите у нашего директора музыкальных театров, Лидия.

— Я ничего не понимаю в любви.

— Это оттого, что сама любовь все понимает, на все имеет ответ, все решает, и нам остается только позволить ей делать свое дело. Достаточно взять абонемент, проездной на все виды транспорта.

— Я любила его, по-настоящему, десять лет. А когда разлюбила, то пыталась полюбить его еще больше. Вот и попробуйте понять.

— Чувство вины. Нам стыдно. Мы не хотим этого признавать. Мы сопротивляемся. Чем меньше мы любим, тем больше стараемся любить. Иногда до того напрягаемся, что это вызывает одышку. К тому же этим, наверху, нравятся не столько наши победы или поражения, сколько красота наших усилий. Вы уже пробовали маточное молочко? Говорят, придает сил.

— Я не понимаю, как любовь может кончиться…

— Да, пожалуй, это дискредитирует сам институт любви.

— Иногда все уже кончено, а ты этого не замечаешь, по привычке… — Она осеклась и испуганно посмотрела на меня. — Который час?

— У нас бездна времени.

* * *

— Когда Ален вышел из больницы, я честно старалась. Мы по-прежнему жили вместе. У него было расстройство речи, афазия. Совершенно невозможно общаться…

— Это как раз должно было все упростить, раз-

ве нет?

— Знаете, Мишель, это уже не цинизм, а… смерть.

— Делаю что могу.

— Так вот. Он стал слишком говорлив, потому что у страдающих этим видом афазии умственный контроль над речью нарушен и они беспрестанно лопочут что-то на своем языке… Нельзя же бросить человека в беде потому, что вы перестали его любить… Но нужно ли оставаться рядом с ним *только потому*, что вы перестали его любить?

— Пора кончать с психологией, Лидия. Она слишком давно не сходит со сцены. Нужно сменить репертуар. Я поговорю с дирекцией.

— Иногда я спрашивала себя, не придумала ли я себе удобного оправдания, что перестала его любить еще до аварии… Вот что страшно. Разлюбить человека и бросить его только из-за того, что он… так изменился… Красиво, да?

— Разумеется. Просто конкурс красоты.

— Он изменился. Стал другим.

— Скандал! Верните деньги!

— И у меня было еще одно оправдание: пусть неумышленно, но он виновен в гибели моей дочки. А вдруг и это тоже, эта вина, которую я

повесила на него, — просто предлог, чтобы его бросить?

— Психология щедра на всякого рода предположения. Набор вариантов неисчерпаем. К тому же разрешается жульничать. В этой игре можно подбрасывать фишки из рукава, прятать, подменять. Допускаются любые приемы, только вот ставим мы всегда против себя. При неограниченном количестве фишек и таком же количестве комбинаций в выигрыше всегда только один игрок — чувство вины. И все же — кто бы мы были без психологии? Звери? Должно быть, весело им живется, нашим братьям меньшим. Есть такой поэт, Франсис Жамм, он оставил одно очень красивое стихотворение. Называется «В рай вместе с ослами».

В ее глазах промелькнула дружеская усмешка.

— Вы в конце концов добьетесь своего, Мишель. Вы как тот гуттаперчевый акробат из «Клапси», о котором вы мне рассказывали: так ловко скручиваете себя и так неистово, что скоро свернетесь в клубочек и сможете поместиться в шляпную коробку.

— Ну надо же что-то делать со своей жизнью, черт побери!

— К чему все эти выкрики, Мишель?

— Крик всегда был вершиной человеческих достижений. Все люди лепечут что-то себе под нос, каждый по-своему, и человечество до сих пор не нашло языка более или менее связного и понятного для всех. Но оно по крайней мере кричит с одного конца света на другой, и они-то, эти вопли, вполне понятны. Я не говорю, что нас помилуют, Лидия. Не говорю, что настанет конец жестокости и нам смягчат приговор. Я не знаю, придет ли когда-нибудь Спартак, а вместе с ним и конец рабству, но знаю, что уже сейчас среди нас есть великие сокрушители цепей. Флеминг победил сепсис, Солк — полиомиелит, обуздали туберкулез, и, я уверен, рак доживает последние дни. Мы умираем от слабости, но именно она дает нам немыслимые надежды. Слабость всегда жила воображением. Сила никогда ничего не придумывала, она считает себя самодостаточной. Гениальность всегда идет от слабости. Представляете, что было с тьмой, когда человек впервые ткнул ей в рожу горящим факелом? И что же сделала тьма? Сбежала, поджав хвост, жаловаться папочке. Нет, это не песнь ликующего дикаря. Это шепот слабости, и я почему-то ей верю. В этот самый миг где-нибудь в лаборатории один из нас, слабых, борется сейчас и принесет нам

всем победу. Именно в экспериментальных лабораториях человечество чертит линию судьбы на своей руке. Там, и только там воплощается в жизнь Декларация прав человека. Нас разбили, меня и вас. Мы побеждены, вне всяких сомнений. Но без поражений не бывает побед. Да, пусть я пьян. Спятил. Не в себе. Я бью мимо, мои руки — ветряные мельницы. Конечно, вполне возможно, моя жалкая убежденность — всего лишь эйфория спятившего дурака. Пусть так. Но мы слишком слабы, чтобы позволить себе роскошь быть побежденными.

Она вела машину очень медленно, как будто боялась куда-нибудь наконец приехать.

— Во всем этом есть что-то непреходящее, Лидия. Нужно видеть и смешную сторону, иначе нельзя. Раньше это называли честью, человеческим достоинством. Отчего вы не… помогли ему?

— Чтобы потом всю оставшуюся жизнь терзаться сомнениями, не помогла ли я умереть своему мужу, чтобы положить конец страданию, которое *я сама* не могла больше выносить? Вы вот говорили о братстве… Я попыталась. Но посвятить себя больному человеку только потому, что больше не любишь его, пожертвовать собой просто во имя этики — это же противоречит

всякой жизненной реальности. Претензия на гуманизм, в котором не осталось ничего гуманного. Противоестественный поступок, и Ален ни за что не согласился бы на это, будь он… в здравом уме. Сначала он не знал, что никто его не понимает. Он подозревал какой-то заговор, у него началась чуть ли не мания преследования… Еще в больнице я видела двух человек, страдающих афазией, которые едва не подрались из-за того, что каждый думал, будто другой дразнит его… Такой красивый, такой галантный, он брал меня за руку и бормотал: мими малыш, мапуз ко ко ко, — и так часами. Мысль-то цела и невредима, но спрятана за семью замками. В придачу и зрение потеряно на восемьдесят процентов. Я видела в нем только виновника аварии… И чем больше я его винила, тем сильнее пыталась любить. Но во имя чего? Во имя чего, Мишель? Во имя какой-то там идеи справедливости, полагаю… Или несправедливости. Солидарности. Отказа от одичания. Это был вопрос… цивилизованности, что ли. Но мне пришлось признать, что дело здесь уже не в Алене. Я посвящала себя не человеку, а некой идее о человеке, а в этом уже не было ничего человечного. Слава нашему знамени! Слава чести! Но это уже не было жизнью. И потом, не забывайте о

Соне. Ее вера в несчастье полностью оправдала себя, и она оказалась на высоте положения, наша замечательная Соня. Она уже тридцать пять лет живет на одном терпении: куда мне с ней тягаться. Все свои в итоге возвращались к ней… Муж, братья и вот теперь — сын. Истребление всей ее семьи не казалось ей чудовищным: это же закон жанра. Не знаю, высечен ли этот закон на каменных скрижалях. Весьма возможно: он ведь каменный. Юдоль печали. Мы пришли в этот мир, чтобы страдать. Да исполнится воля господня! Каменный, это точно. Мало того, совершенно необходимый, потому что служит прекрасным оправданием: счастливым быть невозможно, не стоит и пытаться, таков мировой порядок. Думайте что угодно об «Орестее» и греческой трагедии в целом, но главное — они играли под открытым небом, чтобы кто-то там, наверху, надорвался от смеха. Я хочу сказать, что в человеке есть доля безумия, но эта доля не принадлежит человеку… Вот. Вы меня выслушали. Очень мило с вашей стороны. Надеюсь, я немного помогла вам… забыть…

— Ну конечно. Признаёмся мы в этом или нет, но мы всегда рассчитываем, что кто-то придет на помощь…

— Самообольщение…

— Может, и так, но в конце концов, мы ведь с вами сейчас вместе, вы и я.

— Расскажите мне о ней.

— Что ж… Как-то она мне сказала: «До определенного предела, но дальше — нет». Она не просто отказывалась страдать: это был вкус к жизни, к ее полноте. У нее этот вкус был слишком развит, чтобы согласиться вылизывать объедки с тарелок. Тогда я трусливо ответил: «Раз так, уйдем вместе». Она страшно рассердилась. «Не может быть и речи. Ты говоришь так, как будто один ты любишь. Мне ненавистна сама мысль о том, что я умру, унеся с собой смысл своей жизни. Не знаю, что такое «быть очень женственной» или «очень мужественным», если это не значит быть прежде всего любимой или любимым. Так что обещай… обещай мне, что не будешь оправдывать все своим горем, прятаться в нем. Мрачное пристанище среди руин и колючек. Нет! Я не хочу, чтобы смерть прибрала к рукам больше, чем может унести. Ты не должен запираться в темнице воспоминаний. Я не хочу помогать каменным стенам. Мы с тобой были счастливы — теперь мы у счастья в долгу». Не знаю, что вам еще сказать, разве только вот что: я ей отдал все, и все это у

меня теперь осталось. Любовь — единственное богатство, которое приумножается, когда его расточаешь. Чем больше отдаешь, тем больше тебе остается. Я жил этой женщиной и не понимаю, как можно жить иначе. Хотите каких-то воспоминаний? Вот одно, пожалуйста. Она лежала. Ей было уже очень плохо тогда. Я склонился над ней… Сильная рука, мужское присутствие, поддержка, в духе «я с тобой…». Повеситься можно. Она прикоснулась к моей щеке кончиками пальцев. «Ты так меня любил, что это вроде как дело моей жизни. Как будто я создала за свою жизнь что-то стоящее. Напрасно они стараются, те, кто ведет счет в миллионах: только вдвоем можно состояться. Миллионами можно считать только до двух». Что-нибудь еще? У нее были очень светлые волосы… на губах радостная улыбка, которую невозможно спугнуть… Она не похожа на вас, вы совсем другая, к тому же дело уже не в вас и не во мне, но в том, что нас объединяет… из-за ее отсутствия. Есть одно известное высказывание, оно многим нравится, потому что представляется мудрым: «Нужно отдать огню его долю». Так вот нет. Почему? Очень просто: огонь никогда не наедается, его доля не гаснет, не может погаснуть. Видели вы на улицах пожилые пары, стариков,

которые еле идут, но поддерживают друг друга? Это она и есть, его доля. Чем меньше остается от каждого, тем больше — от них двоих…

Она подождала немного, слушая ночь, потом спросила:

— Господи, но что же вы собираетесь делать со всем этим?

Я опустил глаза, чтобы сдержаться. Я буду жить до глубокой старости, чтобы передать тебе свою память. У меня будет родина, будет земля, источник, сад и дом: отблеск женщины. Покачивание бедер, развевающиеся волосы, морщинки, которые мы прочертим вместе; я всегда буду знать, откуда я. У меня всегда будет родина в лице женщины, и если мне придется оказаться в одиночестве, то только как часовому на посту. Все, что я потерял, возвращается ко мне смыслом жизни. Нетронутое, невредимое, нетленное… Отблеск женщины. Я прекрасно видел, что ты все еще сопротивляешься, ты пыталась слушать меня, как слушают, оценивая тембр, своеобразие исполнения, и в какой-то момент, чтобы отгородиться от меня, с той насмешкой, которая так выручала нас, ты яростным жестом включила кассету, и мой голос заглушили потоки другой музыки, уже освоенной. Потом были еще какие-

то улицы, ты расплакалась ненадолго от досады, злясь на себя за то, что отступаешь перед убежденностью фанатика, сидевшего с тобой рядом, а когда мы попали к тебе и ты снова оказалась в моих объятиях, у меня на груди, там, где несчастье бессильно, где с нами ничего не может случиться, я, понял, что все спасено. «Не ищи легких путей, Мишель, не отказывайся от любви, прикрываясь мной: смерть — прожорливая тварь, я не хочу ее прикармливать. Я ухожу, но хочу остаться женщиной». И когда ты, Лидия, шепнула мне, без тени упрека: «Никогда ведь не будет никого другого, только она», я понял, что твое сердце уже полно нежности к той, которую я тебе доверил. Мы возвращались: конец скитаниям, покой тихой гавани. Кончилась великая травля, как будто мы достигли убежища, земли обетованной, где было все, что у нас украли. Даже если речь не шла уже ни о тебе, ни обо мне, а о борьбе за честь, даже если мы просто соединили наши воспоминания, все же за этим стояла победа человека. Не знаю, то ли это я бормотал, то ли голос старого рассказчика у меня в груди… Пусть вокруг темно, но небезнадежно: свет еще прекраснее в этой черной шкатулке.

— Когда Янник объявила мне день и час, мы

были на озере Эйр, возле деревни Иманс, — не думал, что вспомню эти названия, память часто загромождается всякого рода пустяками. Она заговорила о тебе так весело и с такой дружеской теплотой, что впервые за последние месяцы перед нами как будто забрезжила надежда. «Моя неизвестная сестра… я хочу, чтобы ты рассказал ей, как сильно я в ней нуждаюсь. Я хотела бы встретиться с ней, улыбнуться, обнять. Одна беда: мы слишком… зависим от биологии, а наша жизнь как флакон с этикеткой: «Перед употреблением взбалтывать». Есть наша беспомощная слабость, но это всегда означает: борьба. Может быть, я ужасная эгоистка, но разве ты против того, чтобы я продолжала жить и быть счастливой, когда меня уже не будет здесь? Я прошу тебя не превращать память обо мне в бдительно охраняемую кубышку. Я хочу, чтобы ты расточал меня, чтобы подарил меня другой. Только так я буду спасена, только так останусь женщиной. Когда я буду засыпать, то постараюсь увидеть ее, представить себе, какая я теперь буду, сколько мне будет лет, как я буду одеваться и какого цвета на этот раз у меня глаза…»

Она зажгла свет. Усталое лицо, мягкие морщинки — следы двадцати лет нашей общей жизни,

прожитой вместе вдали друг от друга. Взгляд, плечи, беспорядок седых волос, наивная уязвимость в линии губ — во всем смятение, тревога, дрожь…

— Вы из тех французов, которых уже давно нет: строителей соборов… Я понятия не имею о «завтрашем дне», Мишель. Слишком большая для меня роскошь. Я вся состою из маленьких сегодня. Это старая добрая битва, знаю: мужчина, женщина, пара, во имя и против всего, но у меня нет никакого желания мыслить исторически. Я хотела увидеть наши лица, темнота слишком обманчива. Вы лежите тут рядом со мной, среди изломанных мечей и пробитых щитов, а… я? Зачем я на этом поле брани?

— У меня еще годы жизни впереди, я могу подарить их вам.

— Не надо, я не хочу вашей жизни. Ни за что на свете. Мне и своей достаточно. Вам удалось нечто замечательное: вы взяли у Бога что могли и отдали все это любви. Это слишком возвышенно для меня. Слишком — для женщины, которая работает. Посмотрите на меня хорошенько, старина. На мне ведь живого места не осталось. Я не готова идти в крестовый поход, чтобы освобождать гроб супружества. Раньше, по крайней мере

мужчины, отправлялись в Святую землю одни. Я хочу быть счастливой сама по себе. Я не желаю бороться за счастье всего человечества. Вообразите, я даже не умею летать. У меня нет крыльев. Я представляю из себя такую малость и прошу еще меньше. Немного нежности, мягкости, ласки, и пусть их потом унесет ветер — почему бы и ветру не побыть счастливым?

— Это способ сказать мне, что вы очень требовательны…

— О да. Очень.

— Мы не станем сразу сворачивать горы. Не волнуйтесь, горы сами придут к нам. Если вы полагаете, что во мне проснулся сейчас рыцарский дух, то это ошибка. Я не говорю: «Я вас люблю». Я говорю: «Давайте попробуем». Совершенно незачем расшаркиваться с несчастьем. Я в этом уверен.

Она накинула пеньюар, закурила сигарету и принялась нервно шагать по комнате, резкостью жестов выдавая обезоруживающую готовность ринуться в бой, которая присуща только беззащитным.

— Прежде всего речь идет о том, чтобы спасти женщину, так? Она вам сказала: «Преврати меня в другую»? Но я не хочу помогать вам мусолить

одни и те же воспоминания. Увольте. Я разучилась. Возможно, я больше не способна на это высшее прозрение, необходимое, чтобы продолжать борьбу, и которое называется ослеплением. Не помню, кто сказал, что в жизни всякое достижение — лишь неудавшийся провал…

— Ларошфуко?

— Нет, не Ларошфуко.

— Оскар Уайльд?

— Нет, не он.

— Тогда лорд Байрон.

— Нет, и не Байрон.

— Послушайте, Лидия, я предлагаю вам самое лучшее. Ларошфуко, Уайльд, Байрон. Вершины. Со мной вы всегда на вершинах. Смейтесь, смейтесь, от этого становится светлее. И не говорите: «Я вас плохо знаю». Или, того лучше: «Я боюсь ошибиться». Вы же не станете призывать «не терять головы», когда у нас вдвое больше шансов против непостижимого? Закройте глаза и смотрите на меня. Не всякая истина — дом родной. Зачастую там нет отопления и можно сдохнуть от холода. Небытие меня не интересует, причем именно потому, что оно существует.

— Вы романтик?

— В своем отношении к дерьму — да. Вовсе не

обязательно отрицать реальность: достаточно просто не идти у нее на поводу. Если бы мы были менее счастливы, то есть не настолько, чтобы забыть о враге, мы бы вовремя заметили, что Янник больна, и может быть, ее удалось бы спасти. Мы забыли, что счастье, как в пасти акулы, всегда окружено двумя рядами зубов. Поначалу невидимый, неслышный враг раскрыл себя, только когда насытился по самое горло. Настоящая злобная гадина, порочная и трусливая. Вы сейчас говорили о сломанных мечах и пробитых щитах: верно, их все больше и больше. Мы еще слишком слабы. Но эта слабость, уязвимость, страх перед мимолетностью жизни — не что иное, как сила души. Вы не могли не заметить, что слово «душа» вышло у нас из употребления. Мы предпочитаем не приближаться к столь высоким материям: это задает масштаб. Наверно, мы с вами смешны: два спасательных круга, которые пытаются друг друга спасти, выталкивая на поверхность, — что ж, я готов с честью носить клоунский наряд. Скажу больше: именно с плевков и кремовых тортов начало вырисовываться то, что можно назвать человеческим лицом… Я не хочу, чтобы вы хоть на мгновение усомнились в моей абсолютной верности той женщине, которой больше нет: это

не может умереть, и теперь ваша очередь…

В ее голосе, взгляде еще было сопротивление. Я прекрасно знал эти интонации, эту безоружную воинственность, это хлопанье крыльев: она испугалась, обнаружив, что еще способна верить.

— Не знаю, сознаете ли вы, с каким равнодушием, чтобы не сказать — жестокостью по отношению ко мне вы лезете вон из кожи, силясь полюбить еще раз. И глядя, как вы пытаетесь вплавь пересечь океан, хочется броситься в воду и помешать вам утопиться… Страшная штука эти самоубийцы.

— И что?

— А то! Жаль, я не играю на гитаре, Мишель. У нас получился бы настоящий хит. Соня знакома с директором музыкальных театров, она наверняка могла бы устроить нам прослушивание.

— Так, ирония, понимаю. Каждый отбивается как умеет. Но если однажды я перестану любить, это будет означать только то, что у меня больше нет легких. Сейчас вы здесь, сейчас здесь свет женщины, и несчастье перестает быть нормой жизни. Пять утра, там уже наверняка все кончено, не осталось камня на камне, то есть нужно строить заново. После того как все обращается в прах, наступает момент изначальной цельности. Я пою

вам сейчас дикий первобытный гимн — это единственный способ выразить то, что было прожито. «Илиаду» называют эпопеей и восхищаются описанными в ней героическими сражениями. Гораздо труднее рассказать о супружеских парах, мирно стареющих вместе, а между тем это и есть наши самые прекрасные победы. Может быть, вы не поймете, как я любил и продолжаю любить другую женщину, и поэтому отвернетесь от меня. Или скажете: «Хватит нам, женщинам, вечно быть кормящими матерями». Нет! Забудьте про эти скитающиеся бесхозные половинки. Я говорю вам о паре: в ней уже не разбираешь, кто земля, а кто солнце. Это другой биологический вид, другой пол, другое пространство. Можно еще поговорить о «независимости». Ох уж эта пресловутая «независимость» сепаратистов, раздельные уборные «М», «Ж», где мы запираемся, чтобы с нежностью отдаться себе, любимому. «Независимый» мужчина, «независимая» женщина — слова, доносящиеся издалека, из зоны вечной мерзлоты, страны великого одиночества, где нет ничего, кроме собачьих упряжек, и этим словам надо внимать с почтением: в них достоинство обездоленных. Сейчас вы меня покинете, но некоторые мгновения не стираются из памя-

ти. Эфемерное живет минутами и вспышками, я не прошу у счастья ренты. Я посмотрю на часы, встану, оденусь, поблагодарю вас: «Спасибо, что составили мне компанию, время пролетело так быстро, надеюсь, я своим громким голосом не потревожил соседей»; вы сможете привести себя в порядок, причесаться, мы, как сказали бы здравомыслящие люди, «отрезвеем» — ну и слово, звучит прямо как «отрежем». Это так банально, так часто случается в нашей мелочной лавочке, мы довольствуемся безделушками, пустяками, невесомыми, как шейные платочки; любовь — это уже было, это затаскано до дыр. Мы хотим уничтожить эхо, потому что оно повторяется, но чтобы заставить нас сказать нечто новое, надо вырвать нам голосовые связки. Вы ни в чем на нее не похожи, именно поэтому вы — ее продолжение.

— Мишель, Мишель…

Она присела на кровать, рядом со мной. Может, она и слушала меня, но мы еще были безголосыми. Нас пока просто рвало словами.

— Боюсь, что жизнь, настоящая, реальная, окажется не на высоте, Мишель. Она слишком быстро выдыхается. К сожалению, есть камни, которые не мечтают об эхе, и таких много.

— Да, это прекрасно передал один великий поэт, действительно великий, который ничего не написал, не сочинял стихов о любви и этим выразил ту огромную пустоту, которая без нее зияет в нашей жизни. Мне жаль этих людей. Если ты любил женщину всем сердцем, всем зрением и слухом, всеми утрами, лесами, полями, ручьями и птицами, понимаешь, что любил ее недостаточно и что мир — это лишь начало того, что еще предстоит. Я не прошу вас принять эту религию вместе со мной, я знаю, что вы хотите лишь помочь другой женщине, сделать ее смерть менее жестокой. Мы проговорили всю ночь, а я почти ничего вам не сказал, потому что ваши губы говорили мне о ней. Вы так и не узнаете, как сильно она в вас верила и полагалась на вас. Мы часто бывали во Фло: она предпочитала вековые леса морю с его непостоянством. Она знала, что погибает, но на природе это не так заметно. Когда ее спрашивали, кто она по знаку зодиака, она отвечала, смеясь: «Светлячок». Она любила прикасаться к черным камням, мечтающим об эфемерности. Мы шли среди деревьев навстречу другой паре, через тысячу лет, через десять тысяч, потому что жизнь сама нуждается в смысле жизни. Она говорила, что я идеализирую женщину

и ее реальность сводится на нет, но это и лучше: так она меньше ощущала свою обреченность — вне реальной человеческой природы она становилась менее смертной. Я прекрасно помню то место, тот путь; там был темный сине-зеленый пруд в блеске стрекоз — мерцающих вспышек на стыке между солнцем и тенью. Враг уже торжествовал, наши дни были сочтены, она надеялась только на тебя. «Я хотела бы, чтобы она пришла сюда через год, когда здесь снова будет это сиреневое пятно вереска, и твоя рука в ее руке вспомнит о моей. Хорошо бы, конечно, немного красивых стихов, но что уж там: для поэтов говорить о любви значит отказаться от оригинальности, а это требует большой решимости. Любовь, пара — о чем тут говорить, когда человек исследует Марс, высаживается на Луну, нет, в самом деле, это какая-то архаика. Впрочем, разве кто-нибудь уже сказал, что вся женская сущность — это мужчина, а мужская — женщина? Ведь нет. Я понимаю, что невероятно глупо расставаться с тобой по каким-то техническим причинам, из-за всех этих проблем с органами, вирусами, еще бог знает с чем, но не сомневайся: я вернусь к тебе другой женщиной. Я много думаю о ней. Даже смешно, как я беспокоюсь о ее красоте. Я не знаю ее, очень

может быть, ей недостанет братских чувств, и тогда нам будет сложно, ей и мне. И все-таки я ей уже помогла: ты не сможешь жить без меня, а мое место — вот оно, уже готово для другой. Я не хочу уйти как воровка, ты должен помочь мне остаться женщиной. Самый жестокий способ забыть меня — это отказаться от любви. Скажи ей…» Но зачем, Лидия? Ты знаешь, ты понимаешь: мы вдвоем. Хлеб не надо изобретать, вода ничего не объясняет источнику, а сердце не рассказывает крови, чем оно живет… Давным-давно известно, как образуются безжизненные миры, от какого леденящего душу отсутствия женских губ. Так пусть они пребывают в унынии, оттого что земля — прах, а мне совершенно безразлично, кто прах, а кто Бог, потому что ни то ни другое не женщина. Иногда я даже отправлялся взглянуть на соборы — в Реймс, в Шартр, чтобы увидеть, как глубоко можно ошибаться… Смысл жизни имеет вкус поцелуя. Там мое рождение. Я оттуда.

Она наклонилась ко мне, но по ее лицу, которое, однако, было сейчас так близко, я не мог понять: она со мной наконец или просто дает мне напиться. И вдруг, в каком-то внезапном порыве, она меня обняла, прижав к себе, совсем как в моих самых давних воспоминаниях.

— Ты вор, Мишель. Разоритель церквей. Тебя схватят за осквернение соборов.

Она взяла мою руку и улыбнулась ей:

— А у тебя, оказывается, есть кулаки. Для чего?

— Чтобы мечтать о кулаках. На самом деле кулаков еще не существует, это выдумка Гомера. Легенда, которую старые цепи рассказывают новым, чтобы их укрепить.

— И что же, Мишель? Что?

Мои пальцы коснулись ее губ, долго блуждали по ним, чтобы не разучиться благословлять. Моя рука прошлась по ее волосам, взявшим у возраста все самое светлое, по морщинкам в уголках улыбающегося рта, потом по вертикальной черточке на лбу, словно распятой на крыльях бровей, потом по сеточке вокруг глаз, так тщательно и тонко прорезанной. Жизнь в таких делах мастер.

— А то, что ты здесь и со мной свет женщины. Другие, может быть, в состоянии жить вдали от него, но не я.

IX

Когда я открыл глаза, бледный день занимался за окнами под лязг мусорных баков. Ночные воды убывали, унося с собой непроницаемость тьмы: мебель, вещи, одежда, циферблаты часов, материализовавшись, теперь глядели на меня со всех сторон. В кильватере удаляющейся ночи я различал только длинную руку Лидии и ее пустую, одинокую ладонь. Я наклонился и спрятался в ней еще на мгновение. Лидия, конечно, просто притворялась спящей, чтобы ничего не усложнять. Может быть, она ждала, чтобы я ушел, потому что целая жизнь — это слишком долго и ей, наверно, стало страшно. Я встал, оделся. Домработница должна прийти через час, но я хотел быть там раньше нее. Хотел посидеть рядом, немного подождать: в конце концов, нам ничего не известно о смерти, и мы с Янник никогда не нуждались в словах, чтобы понять друг друга. Хотя мы договорились, что я не увижу ее после…

— Совершенно не могу представить, на что я буду похожа. Говорят, обычно вид у всех спокойный, умиротворенный, словом, еще одна гадость

напоследок…

Я вернулся в спальню. Лидии там не было. Я нашел ее в кухне. Сел напротив, ничего не говоря, и стал пить кофе. Дневной свет шарил по ее лицу, и какими дорогими вдруг показались мне эти следы усталости, эта осунувшаяся бледность, морщинки! Утренний старьевщик ничем тут не разжился и лишь поднял в цене то, что пришел обесценить.

— Лидия, ты не могла бы пойти туда со мной?

— Хорошо.

— А потом мы сразу уедем. Паспорт при тебе?

— Да. Я давно уже готовилась бежать.

— Прямо оттуда — в Руасси. Можно для начала в Мексику.

Зазвонил телефон. Звонили долго. Она не подошла.

— Это Ален. Он звонит каждое утро… Я не поеду с тобой так далеко, Мишель. Ты фанатик любви к женщине, и в этом больше фанатизма, чем собственно женщины. Твое падение чересчур возвышенно для меня. Ты падаешь слишком высоко. Ты пьян от горя, и я не знаю, кто ты на самом деле. Уезжай один, а через три месяца, через полгода ты вернешься, и мы попробуем познакомиться. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы я

ошибалась, я даже была бы счастлива ошибиться. Но ты должен мне помочь. Это будет трудно — изо дня в день, шаг за шагом, по миллиметру. Мы ведь всегда пробираемся навстречу друг другу ползком. Сейчас ты не ты. Ты — это она. Скажу больше: дело уже не только в ней или в тебе, и еще меньше — во мне, но в твоей великой битве. Ты ведешь какое-то первобытное сражение за честь человека. И отказываешься принять поражение. У тебя сжимаются кулаки. Я прекрасно понимаю, что это ради нас, нас всех, как всегда, когда мы противостоим несчастью. Я думаю об этих замечательных хирургах, швейцарцах и шведах, работающих на развалинах Бейрута: они спасают не только тех, кого спасают, но и нечто гораздо большее, даже когда не удается спасти никого… Ты так любишь другую женщину, что слишком легко отдаешь все.

— Ты взвешиваешь за и против, Лидия. Я не знаю, что значит взвешенная надежда. Любовь — это путешествие, в которое пускаются без карты и компаса, и заблудиться можно только от чрезмерной осторожности. Ты поразмыслила и решила, что я слепо верую в женщину. «Остановился в первой попавшейся часовне и молится». Но скажи, кто в наши дни будет говорить такое?

Кто отважится? Кто сегодня отважится заявить о своем постоянстве? Кто отважится сказать, что честь, смысл, мужество и смелость быть мужчиной — это все женщина? И опять же, я ведь даже не прошу полюбить меня, я говорю только о братстве. Я прошу тебя быть рядом со мной, чтобы указать несчастью его место. Для человека нет более высокого служения. Женщина, мужчина — и вот уже бросок игральных костей упраздняет случай[14]. Нам потребуется немалая вера, чтобы выстоять среди всех этих фальшивых храмов.

— Мишель, искусственное дыхание может вернуть к жизни, но жить так постоянно невозможно.

— Жить будем потом. Пока мы можем только дать шансу шанс. Мы живем в такое время, когда каждый кричит от одиночества и никто даже не задумывается, что кричит от любви. Когда люди умирают от одиночества, они всегда умирают от любви.

— Я только хочу сказать, что, может быть, лучше остаться в Париже, потому что здесь будет гораздо труднее, чем в каких-то сказочных странах, и мы быстрее разберемся что к чему…

---

[14] Примечания: 14

Перифраз названия поэмы С. Малларме «Бросок игральных костей никогда не упразднит случая».

Она опустила глаза. Ее рука нервно перебирала крошки на столе. Все шло ко дну, ускользало, и я не знал, как это удержать.

Зазвонил телефон.

— Вот видите, — сказал я. — Здесь будут без конца звонить. У вас ли, у меня… Нужно уехать.

Она держала пиалу с кофе двумя руками и размышляла. При свете дня, да еще на кухне.

— Хорошо. Пойду собирать чемодан.

Я вдруг вспомнил, где оставил дорожную сумку: в гримерной у сеньора Гальбы. Там был мой паспорт, дорожные чеки. Лидия нашла в справочнике телефон «Клапси», но там никто не брал трубку.

Я вспомнил, что маэстро остановился в гостинице «Кийон», и позвонил туда.

— Будьте добры, мне нужен сеньор Гальба.

Меня соединили.

Мне ответил женский голос, и я повторил свою просьбу.

— Кто его спрашивает?

— Скажите, что это его друг из Лас-Вегаса.

Пауза…

— Вы его друг? Он… он… Не могли бы вы прийти сюда, месье? С ним что-то неладно.

— Сердце?

— Нет, но он какой-то странный и…

Я узнал голос: это девушка, которая подошла к нам на улице возле «Клапси».

— Мы говорили с вами ночью, мадемуазель, помните, я сидел в машине с подругой.

— Прекрасно, значит, вы хорошо его знаете. Он попросил меня побыть с ним в гостинице, но… Я не могу больше здесь оставаться. Мне страшно.

В трубке опять стало тихо, потом я услышал голос сеньора Гальбы:

— А, это вы. Да, ваша сумка у меня. Вы забыли ее у меня в гримерной… Кстати, вы знаете, что умер Мату-Гросу?

— Я еще не открывал утренних газет.

— Сердце не выдержало. Вот так… раз — и все!

— Смрт.

— И-мен-но. Сначала уходят лучшие. Я был так привязан к нему, и моя жена очень его любила. Он был старый и боялся оставаться один. Решил уйти первым… Большой трус был. Но я ничего, держусь, у меня контракты на два года вперед. Эти люди знают, что делают, вы понимаете. Чем они заполнят без меня такой колоссальный пробел в программе?.. Мне, конечно, ужасно будет не хватать Мату, но он поторопился. И то, что я говорю сейчас с вами, тому подтверждение.

Разве у меня голос человека, который собирается отбросить коньки с минуты на минуту?

— Вовсе нет.

— Я в отличной форме. Даже провел ночь с женщиной.

— Поздравляю.

— Но я не знаю, что буду делать без этой собаки.

— Найдите себе другую.

— Да, но на это нужно время, это ведь должен быть друг. Здесь одного дня мало. Понимаете, общие воспоминания, привычки. У него была особенная манера положить морду на лапы и смотреть на меня так, будто в его жизни нет ничего важнее меня… Вам это знакомо?

— Еще как! Мне не раз случалось положить морду на лапы и смотреть на кого-то так, будто важнее у меня нет ничего в жизни… Сейчас я должен с вами попрощаться, Гальба. Меня ждут.

— Этот пес рано умер. Ошибся. А между тем у него была прекрасная интуиция. Как он не почувствовал, что мне еще осталось немного времени? Он ошибся в своих прогнозах. Я полон жизни, поверьте мне на слово. И у меня лучший номер в мире. Я еще раз прорепетировал его сегодня ночью. Бе-зу-преч-но! Вот и все, что можно

сказать. А?

— Я скоро зайду за сумкой. Оставьте ее у консьержа.

— Нет, нет, вы должны подняться ко мне. Номер пятьдесят семь. Вы тоже уезжаете?

— Да.

— Далеко?

— В Каракас.

— Очень красивый город. Поднимайтесь сразу в номер. Со мной тут была приятельница, но она только что ушла. Даже денег не взяла. Такая трусиха. Приходите, приходите. Мне опостылели эти гостиницы. Так я на вас рассчитываю.

— Слушайте, Гальба, у меня сегодня ночью умерла жена. Я должен зайти к ней. Но потом — сразу к вам.

— Прекрасно. Главное, не протрезвейте!

— И хотел бы — не смогу.

Я вернулся на кухню, я забыл, где оставил что-то, что искал, и теперь уже не помнил, что именно. На кухне этого не было, и я прошел в гостиную, потом в спальню, но и там этого не оказалось. Лидия открывала шкафы и бросала вещи в чемодан. Она старалась не смотреть на меня, как будто боялась встретиться со мной взглядом. Может, она спрашивала себя, чего я жду, почему

еще не ушел. Пробуксовки, провалы случаются всегда. Невозможно все время быть счастливым, иногда что-то расклеивается. Как-то в Вальдемосе я видел оливы, ветви которых так переплелись, что нельзя было разобрать, где одна, а где другая. Но это с оливами так. Я пошел в прихожую и обнаружил там свой плащ и шляпу. Надел их. Вернулся в гостиную, сел в кресло и долго сидел, пытаясь вспомнить, чего же мне недостает и что я так искал. У меня болело плечо и грудь, в том месте, откуда вырвали ее. Я встал, тщательно осмотрел все карманы, я был весь в поту. Пошел в спальню.

— Извините, у вас не будет платка? Верну при первой же встрече.

Она странно посмотрела на меня, потом взяла в шкафу носовой платок и протянула мне.

— Мне очень жаль, что приходится предстать пред вами в таком виде, — сказал я. — У меня не было времени переодеться.

Она слушала очень внимательно, ничего не отвечала, нарочно не смотрела в мою сторону, выбирала какие-то вещи и складывала их в чемодан. Я присел, радуясь возможности с кем-нибудь поговорить.

— Я не менял рубашку трое суток, моя элек-

тробритва в сумке, которую я оставил у сеньора Гальбы, он артист-дрессировщик, показывает в «Клапси» свой номер, известный во всем мире. Не знаю, как вас благодарить.

— Вам надо поесть.

— Нет, спасибо, извините, скоро будет лучше.

— Хотите, я вызову вам такси или отвезу сама?

— Думаю, если бы вы проводили меня туда, это было бы очень кстати. Видите, все на этом свете вовсе не случайно, раз мы с вами встретились. Есть ведь доброжелательность, участие, помощь, поддержка. Я уверен, что сеньор Гальба очень заботится о своих подопечных, хоть и нахожу его занятие весьма жестоким. Наверно, это бросалось бы в глаза еще больше, если бы он сам не выходил на сцену, а оставался за кулисами. Так было бы правдоподобнее. Однако, полагаю, мы не должны останавливаться на достигнутом. Всегда можно сделать лучше. Второе дыхание очень приветствуется, не говоря уж о третьем, четвертом… промолчим о них из скромности. Нужно постоянно расширять границы выносливости, мировых рекордов не существует, всегда можно сделать еще лучше. Не беречь сил, вот в чем суть. Говорят, когда американцы высадились на Луне, они обнаружили там китайцев. Возму-

тились — ведь всем известно, что у китайцев нет для этого технических средств, — и потребовали объяснений: «Как вы здесь оказались, как смогли добраться до Луны вопреки всем законам природы?» Тогда один из этих мелких китайцев, ставя один кулак на другой, выстраивает в воздухе лесенку и говорит, улыбаясь до ушей: «Один китаец, два китайца, три китайца…» Так что не надо опускать руки. Сделаем лесенку и доберемся. Не знаю уж, какого сеньора Гальбу мы найдем там, наверху, но уши ему пообрываем точно — за рак, за тиранию, за ненависть, за безумие. Мы победим, потому что мы сильнее, в мире копятся огромные силы, которые пока еще не проявили себя… один китаец, два китайца, три китайца…

Но что я мог против этих глаз, спокойно смотревших на меня. Я спросил:

— Вы ведете за мной наблюдение?

— Вы не можете так дальше…

— Могу, Лидия. Нет рекордов, которые нельзя побить. Всегда можно лучше. В следующий раз буду тренироваться в прыжках в высоту, как чемпион Вирен, когда готовился к Олимпийским играм.

Телефон опять зазвонил. Мне это уже надоело. Я снял трубку. Прерывистый, напряженный голос:

— Дзидзя? Какакак галетта но но мазабетта ну ну…

Меня разобрал смех. Сеньор Гальба — другой, тот, что остерегается показываться из-за кулис, — решительно не гнушается ничем. «Какакак галетта но но мазабетта ну ну…» Ни перед чем не останавливается ради комического эффекта. Я протянул трубку Лидии.

— Вот он, чемпион мира. Ваш муж. Серьезно, думаю, в данный момент именно он должен носить это звание.

Она вырвала у меня трубку, глядя куда-то ввысь, в такие дали, которые недоступны нашим оптическим приборам; по дороге взгляд ее задержался на мне. Она почти не плакала, берегла слезы: наверно, напомнила себе, что впереди еще долгий день.

— Да, Ален, я все это знаю. И мы все это знаем. Мы каждый раз узнаем, что это не ты, и это наконец закладывается в подсознание. Я знаю, что ты ни при чем. Ты не виноват. Просто глупая случайность. Ты посадил малышку на заднее сиденье, ты вел медленно. Я знаю, чего ты хочешь. Но я не могу тебе помочь, потому что Соня всегда рядом, она мне не доверяет. Они меня уже обыскивали на днях. Что ж, нужно продолжать жить, нужно

терпеливо сносить испытания, это очень верное выражение. Я уверена, что сейчас ты уже понимаешь некоторые слова, ты делаешь успехи. Ты уже можешь сказать «Дидья» и «блюблю». Дальше пойдет лучше, вот увидишь. Я знаю, что Соня сейчас рядом с тобой и она улыбается. Смелее вперед, смелее, не останавливайся. Надо продолжать. Ты сумеешь, Ален, я уверена, ты сумеешь…

Я вмешался:

— Скажите ему: мы победим, потому что мы сильнее всех. Великий поход. Мы проиграли сражение, но не войну. В мире копятся огромные силы, которые пока ждут своего часа. Один китаец, два китайца, три китайца. Александр Македонский, Ницше, Че Гевара, Маркс, де Голль, Мао. Израильтяне пошлют свои отряды. Солдаты, с высоты этих пирамид…[15]. К оружию, граждане! Пришел день славы, страшный враг…[16] Наша возьмет. Мы победим даже метастазы. Боже справедливый и всеблагой, ты получаешь высший трофей корриды — два уха и хвост. Оле,

---

[15] Примечания: 15

«Солдаты, с высоты этих пирамид на вас смотрят четыреста столетий» — из обращения Наполеона к войскам во время Египетского похода.

[16] Примечания: 16

Цитаты из «Марсельезы» в переводе В. Ладыженского.

оле! Три миллиарда Спартаков. Свобода ведет нас. Припрем их к стене. No pasarán![17] Это есть наш последний и решительный бой. До последней капли крови. И снова припев: мы победим, потому что мы сильнее всех. Великий поход китайских коммунистов. Один китаец, два китайца, три китайца…

Я почувствовал, как на плечо мне легла рука.

— Извините, Лидия, скриплю немного, но так всегда, когда гремишь цепями… — Я встал.

На улице был цветочный магазин.

— Какие она любила цветы?

— Все.

Она вернулась с букетом белых и сиреневых. Я положил ее чемодан в багажник.

— Где это?

— Улица Вано.

Перед домом стояли какие-то люди. Вышел консьерж, потом парикмахер и его жена.

Они посмотрели на меня с почтением, как будто горе возвысило меня в их глазах.

Мой шурин умирал в кресле.

— Ты знал, что она собирается это сделать, да? Вы договорились… Ты не имел права позволять

---

[17] Примечания: 17

Они не пройдут! *(исп.)* Лозунг республиканцев во время Гражданской войны в Испании.

ей… Пока человек жив, надо надеяться…

— Точно. Мы проиграли сражение, но не войну. В мире копятся огромные силы, которые пока ждут своего часа. Один китаец, два китайца, три китайца…

Он пожал плечами и попытался съязвить:

— И что ты теперь будешь делать? Косметический ремонт?

Я сказал правду:

— Попытаюсь быть счастливым. Мадам Лидия Товарски… мой шурин…

Доктор Таллер, взяв меня за плечо, крепко пожал мне руку и долго смотрел в глаза.

— Мужайтесь, — сказал он, словно думал, что одной смертью здесь не обойдется.

— Доктор Таллер, представитель от медицины. Мадам Лидия Товарски.

— Очень приятно, — ответил доктор, и я не смог удержаться от смеха.

Тут раздался голос шурина у меня за спиной:

— Да он пьян в стельку… Еще бы, он всем ей обязан.

Я обернулся:

— Именно. — Потом прибавил: — И это никуда не делось. Хватит на всю жизнь, даже на две. Нам есть чем жить.

Они смотрели на нас в замешательстве, стараясь ничего не замечать. Я пришел с другой женщиной, и без труда можно было уловить нежное понимание, установившееся между нами, поэтому меня так веселили их озадаченные лица. Я вел себя непристойно. Я не уважал несчастье, его права и привилегии, не соблюдал условности и приличия. Дерзко игнорировал устав скорби. Вызов, неподчинение, отказ повиноваться — в общем, я попирал устои. Оскорбление величества, осквернение святыни, пощечина главе правительства, удар по абсолютной власти; и эта женщина, спокойно стоявшая рядом со мной, словно на своем законном месте, казалось, даже не понимала, что здесь траур. При всем том я прекрасно видел, что Янник уже не дышит, что она «умерла», как говорят те, кто ни в чем не сомневается. Еще на ней была моя пижама, не думаю, что она надела ее просто по привычке.

Я взял стул и сел возле кровати. Шторы были опущены, но света хватало.

— Ты видишь, она здесь. Она принесла тебе цветы. Совсем как ты хотела. Мы попробуем сделать тебя счастливой. Это будет немного трудно, будут падения, пустота, неловкость, временами нам будет не хватать воздуха, как, впрочем, на

любом пути, требующем выносливости: мы прожили довольно долгую жизнь каждый отдельно, от этого при объединении оказывается много несовпадений. Ты знала, что я не смогу жить без тебя, и поэтому оставила так много места для нее. Я никогда больше не заговорю с ней о тебе, как и обещал, потому что ты не хотела стеснять ее присутствием другой, навязывать ей свои вкусы, привычки, ты хотела, чтобы она была свободна от всякого сравнения. Я спрячу все фотографии, все вещи, которые ты любила, я не буду жить воспоминаниями. Мне достаточно будет видеть леса, поля, океаны, континенты, весь мир, чтобы любить то немногое, что остается мне от тебя. Все прошло так быстро, улетело так далеко. Ты помнишь в Вальдемосе те две оливы, ветви которых так тесно переплелись, что различить их стало невозможно? Нас разрубили топором. Конечно, мне больно, особенно плечу и груди, в том месте, откуда вырвали тебя, больно глазам, губам, больно везде, где образовалась пустота без тебя, но этот глубокий зияющий провал превратится в храм женщины, где все готово, чтобы ее принять, благословить и одарить любовью. Она здесь, она смотрит на тебя, чтобы понять, кто я, откуда, из чего вылеплен. Она беспокоится,

нужно подождать, ведь мы еще почти чужие друг другу, мы сомневаемся, колеблемся, нам не хватает разногласий, споров, столкновений, мы еще не открыли обратную сторону друг друга, не знаем наших недостатков и слабостей, всех этих несовместимостей, которые дадут нам возможность обтесать, подогнать себя друг под друга, смастерить наши отношения, притереться, и тогда придет нежность, чтобы дополнить каждого из нас тем, что есть у другого…

Я разглядел в сумраке силуэт женщины: она подняла руку, коснувшись моих губ, как будто в моем дыхании таилась какая-то сила, которую можно передать, какая-то слабость, которая не может капитулировать.

X

Еще приходилось сносить чьи-то взгляды, дающее почтительное молчание, скорбный вид, пожимать кому-то руки, благодарить, ничего не ломать, ничего не опрокидывать, да и к чему тревожить их привычный мир: я не трибун, вокруг нет ни знамен, ни баррикад, я не собирался никого призывать к борьбе и кричать о грядущих победах, я только бормотал про себя: «Один китаец, два китайца, три китайца…»

Какая-то незнакомая пожилая дама улыбнулась мне на лестнице:

— Меня зовут мадам Жамбель, я живу на третьем этаже, окна во двор. Мой сын погиб в Алжире.

Я ее поблагодарил. Она хотела меня подбодрить.

Машина стояла около газетного киоска, на первых страницах мелькали заголовки: «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ: НОВЫЕ НАДЕЖДЫ».

Дом, где я пишу сейчас, стоит на берегу моря, и я слушаю шепот его волн. Слушаю внимательно, потому что он идет из глубины веков. Возможно,

появятся новые миры, голоса, которых еще никто не слышал, другое счастье, не то, что живет во вкусе поцелуя, и радость, доселе неизведанная, и полнота жизни, для которой мало света женщины, возможно, но я-то живу самым древним эхом нашего мира. Мы всегда живем тем, что не может умереть. Приходят дружелюбные ночи и ненадолго приобщают меня к ее сну. Как только опускаются мои веки, все опять становится таким, каким было. А днем мой брат Океан составляет мне компанию: только у Океана голос достаточно мощный, чтобы говорить от имени человека. Конечно, я не должен был вести себя с Лидией так, будто она — это она: мы еще так мало знали друг друга, все еще было таким хрупким; нас окружал город, улицы, машины — неподходящее место для молитвы, и потом, какая женщина согласится быть лишь храмом, где поклоняются вечному? Она слушала меня очень внимательно, как будто все, что я говорил, подтверждало ее догадки. Взлохмаченные волосы, замкнутое, почти враждебное выражение лица — она словно черпала в моем голосе силу, которая отдаляла ее от меня.

— Что с тобой, Лидия?

— Знаешь, Паваротти, тенор, даже не смотрит

на свою партнершу, когда поет. Некоторые набожные люди живут только своей верой, и культ становится самоценным, что всегда позволяло религиям обходиться без Бога.

— Не понимаю, при чем…

— Они спешат к первой же часовне, встретившейся им на пути, и остаются там молиться. Из басов самый красивый голос у болгарина Бориса Христова. Еще мне нравится Пласидо Доминго. Потом, есть рапсодии, наконец Бетховен, Вагнер, Вивальди и так далее. Тишине нравятся наши крики, они так идут ей. А григорианские хоралы — ты слышал что-нибудь подобное? Их голоса способны долететь до края земли. Нашего директора музыкальных театров пора уволить, Мишель. Концерт под названием «Крики отчаяния — самые прекрасные» действительно слишком задержался в программе. Мы просто кусок мяса кому-то на обед. И еще: я не хочу быть женщиной теоретически.

— То есть?..

— Церковь. Вера. Культ. У меня нет никакого желания служить предметом культа. О, женщина, иже еси на небеси… Я побитая собака, вот и все. Не знаю, кто из нас двоих больше помог другому сегодня ночью. Ну, скажем так, мы друг

друга поддержали. Это уже немало. Не забуду никогда. Ты вернул мне ощущение, что еще что-то возможно, давно мной утраченное. Знаешь, как это много — после сорока открыть, что все еще возможно. Потрясающе. Ты вернул мне желание быть женщиной. Кажется, это здесь. Иди забери свою сумку. Я подожду тебя в машине…

— Лидия…

— Иди. Хватит мне на сегодня лить слезы.

— Наконец-то, первая перепалка, — обрадовался я. — С удачным началом нас!

Я прошел через холл, уставленный декоративной зеленью, и подождал несколько секунд, пока консьерж демонстрировал мне свое безразличие.

— Будьте добры, мне нужен сеньор Гальба…

— Пятьдесят седьмой. Здесь его уже кто-то дожидается.

Он неспешно достал из-за уха желтый карандаш и указал им поверх моего плеча. Сванссон, вытянув ноги, расположился у телефона. На нем был его бессменный костюм путешественника — Афганистан, Кашмир, Катманду, Мехико: красные сапоги с серебряными гвоздиками, джинсы, на шее цепи с эзотерическими символами. Джинсы и кожаная куртка пестрели разными этикетками,

как чемодан: мотели Аризоны, ашрамы Пондишери, *Hertz rent a car*, Акрополь, *Schwab's on the Strip*, отель «Нотр-Дам», Диснейленд, королевство чудес. Длинные лохмы и белесая бородка отдаленно напоминали изображение Христа на самых ранних литографиях, а массивные темные очки прятали и оберегали детский взгляд.

— Я уже знаю печальную новость, — сказал я ему. — По мне, жили бы собаки так же долго, как и их боги.

— Да, этот закон написан неудачно. Они были очень привязаны друг к другу. Однако, я думаю, сеньор Гальба теперь может вздохнуть спокойно. Все-таки одной заботой меньше: он боялся, что умрет раньше и оставит своего пса в одиночестве. И собака тоже. Я хочу сказать, что Мату был хорошим сторожевым псом, но он боялся оказаться не на высоте, если что случится. С недавних пор они и правда внушали друг другу страх. Стоило сеньору Гальбе почувствовать себя чуть-чуть усталым — приходилось бежать за ветеринаром. Вот уже три года я езжу с ним по всему миру. Я пишу диссертацию о зрелищах в Уппсальском университете.

— Не терпится прочитать.

— Пора уже было кому-нибудь из них двоих

решиться, но они держались друг за друга и не позволяли себе умереть спокойно, если вы меня понимаете.

— Понимаю.

— Когда вы ни к кому не привязаны, можно уйти потихоньку, просто так…

— Смрт, — сказал я.

— Точно. Наверно, стоило бы людям вообще жить без собак, будь это возможно.

— Стоицизм.

— Вот почему я думаю, что все-таки для сеньора Гальбы так лучше, одной заботой меньше.

— Наконец-то свободен.

— Точно. Когда Мату-Гросу издох в его гримерке, он позвал меня, и я очень забеспокоился: нельзя же, чтобы он перестал выступать, его номер — шедевр дрессировки, публике никогда не надоедает. Так вот, я очень беспокоился и спросил: «Как вы себя чувствуете, *señor*?» Ему нравится, когда его называют *señor,* на испанский манер, хотя сам он итальянец из Триеста. «Ничего, Свен, этот пес был очень нервный… Нужно будет сегодня ночью еще порепетировать, а то ритм куда-то пропал». Он заказал шампанского, потом вернулся в гостиницу, забрав с собой Джексона, шимпанзе, и Дору, розового пуделя. Этот

человек не может обходиться без компании. Он еще привел какую-то особу с улицы, с которой у него установились мимолетные приятельские отношения. Ему нравятся уличные девки, «потому что к ним не успеваешь привязаться», как он мне объяснил. Надо вам сказать, он очень любил одну женщину, она ушла от него, а это, как я заметил, не проходит бесследно…

— Точно.

— Мне пришлось выложить двести франков на лапу охраннику, чтобы он позволил им подняться в номер. Знаете, шимпанзе, розовый пудель, проститутка — такие гости вызывают подозрения порнографического толка. Я зашел к нему утром помочь уложить чемоданы, сегодня днем у нас самолет. Теперь жду: пусть поспит немного, он заслужил. Самый замечательный номер в мире, вне всякого сомнения. В этом жанре никто не сделал ничего лучше. Нет, месье, никто.

Он замолчал, выжидая, как будто давал мне время перетряхнуть мой жизненный багаж в поисках нужной реплики.

— Я не слишком в этом разбираюсь, — извинился я.

— Возможно, вы скажете, что посвятить всю свою жизнь какому-то легкомысленному номе-

ру… но именно поэтому, месье, именно поэтому! Кто скажет лучше?

— Думаю, вам стоит вернуться в Уппсалу и дописать свою диссертацию, Сванссон. Извините, меня ждут. Я только хотел забрать сумку, вот и все.

Он устало улыбнулся:

— Понятно. Вы, естественно, предпочитаете Шекспира. Но Шекспир в своих произведениях, месье, слишком уважительно судит о жизни и смерти, тогда как сеньор Гальба их в грош не ставит.

— Я не собираюсь обсуждать шедевры, Сванссон. А теперь…

— Хорошо, идемте.

Мы постучали в дверь пятьдесят седьмого, но никто не ответил. Тогда мы отправились искать горничную, но та не захотела нас впускать. Надо было прежде позвонить консьержу. Получив разрешение вышестоящей инстанции, горничная открыла нам дверь.

Шторы были опущены, горел свет. Сеньор Гальба сидел в кресле возле камина. Шимпанзе устроился на коленях у хозяина и искал блох у него в волосах. Розовый пудель лежал у кресла и, увидев Сванссона, завилял хвостом.

Сеньор Гальба был в пижаме. Глаза широко открыты, лицо осунулось, отчего нос с мощными ноздрями казался еще больше, как будто он устремился навстречу врагу. Сеньор Гальба был мертв.

Шимпанзе посмотрел на нас, чмокнул своего хозяина и погладил его по щеке.

Горничная что-то выкрикнула по-португальски и кинулась жаловаться в дирекцию, что в пятьдесят седьмой привели животных.

Тут Сванссон допустил ошибку.

— Джексон! — крикнул он. Не знаю, то ли шимпанзе потерял голову, то ли, напротив, своим поведением доказал замечательное присутствие духа, но он отреагировал на свое имя рефлексом настоящего профессионала. Издав пронзительно-испуганный крик, он бросился к проигрывателю, стоявшему на столике, и сделал точно такое же движение, которое мне довелось видеть на сцене: завел пластинку. Пасодобль *El Fuego de Andalusía* зазвучал во всем своем великолепии, и то, что воспоследовало, несомненно, делало честь искусству дрессировки, пределы которого определялись лишь застывшим стеклянным взглядом сеньора Гальбы.

В мгновение ока шимпанзе и розовый пудель

уже стояли в обнимку посреди комнаты и танцевали пасодобль, бросая на нас испуганные взгляды, будто понимая, что речь идет о жизни и смерти.

— Вот дерьмо! — в сердцах воскликнул Сванссон.

Я решительно направился к дивану, взял свою сумку и вышел в коридор. Перед тем как спастись бегством (что почему-то всегда кажется возможным), я в последний раз взглянул на своего друга из Лас-Вегаса: трогательная картина — последняя честь, которую шимпанзе и пудель отдавали таким образом труду всей его жизни. В общем, последнее слово осталось за сеньором Гальбой.

Я кинулся сломя голову вниз по лестнице, а ритмичные звуки пасодобля неслись мне вслед от этажа к этажу до самого тротуара, хотя слышать их, естественно, я уже не мог. К тому же мне казалось, что пустой взгляд сеньора Гальбы с невозмутимым безразличием наблюдает за моими попытками увернуться от палочки дрессировщика. Заметив, что ни машины, ни Лидии уже нет, я постоял немного у входа, с дорожной сумкой в руках, слушая мелодию пасодобля, которая все еще звучала у меня в ушах, словно неслась из сотни репродукторов, потом шагнул

на мостовую, очутился в потоке машин и ругательств, повернулся пару раз вокруг себя, щелкая пальцами, чтобы не сбиться с ритма, и, когда какое-то такси наконец остановилось, водитель засомневался, брать ли меня: он опасался за свои сиденья. Я назвал ему адрес Лидии и попросил выключить радио, потому что я слушаю музыку. В зеркале заднего вида отражался его недоверчивый взгляд. Я успокаивал себя тем, что я в полном расцвете сил и можно так протянуть еще долго, если не курить и заниматься спортом. В этой эйфории мне вдруг захотелось поболтать с шофером.

— Знаете, продолжительность жизни увеличилась в среднем на семь лет, по статистике…

— Если вам кажется, что я опасно вожу, выходите, никто не держит.

— Нет, вы не поняли… Я просто сделал оптимистическое замечание общего порядка.

— Мне с вами не о чем говорить.

Ехать туда было минут десять, пятнадцать от силы, но я превратил это в целый час. Время взялось за меня с тщательностью ювелира, шлифуя каждую минуту, как драгоценный камень. Мне не хватало какой-то малости до дрессированного болванчика: чуть-чуть цинизма, чуть-чуть сми-

рения, доли низости, и еще капельки иронии при стоическом выражении лица. Но я любил женщину такой любовью, какой может одарить только женщина, и не умел покоряться.

Я позвонил и сначала даже подумал, что там никого нет. Потом дверь открылась, и меня встретила, широко улыбаясь, какая-то пожилая дама; она, наверно, подумала, что влюбленные повздорили.

— Входите, входите. Мадам просила подождать. Она вам позвонит.

В гостиной на столе был кофе и горячие круассаны.

— Сварить вам яйцо?

— Нет, спасибо.

— Мадам сказала, что вам надо поесть и поспать немного.

— Где она?

— Не знаю, понятия не имею. Она позвонит.

Я прождал около часа. Я знал, что она вернется. Теперь, раз она остается со мной, я даже мог побыть в одиночестве. Потом я собирался сходить за цветами и подарить их той проститутке, которая согласилась посидеть с сеньором Гальбой, потому что человек не может обходиться одной собакой.

Я долго не снимал трубку. Все-таки еще немно-

го надежды.

— Мишель…

— Знаю, Лидия. Я все понимаю.

— Я сейчас в Руасси. Улетаю на несколько месяцев.

— Правильно.

— Я слушала твои молитвы всю ночь, и… там слишком большой размах. Слишком много места для меня. Ты возвысил меня, а я простой человек. Боготворить — не значит любить. Ты возводишь соборы, а я помещаюсь в двухкомнатной квартире, восемьдесят квадратных метров. Ты потерял женщину, которая была для тебя всей жизнью, и теперь пытаешься свою жизнь превратить в женщину. Она оставила тебе несметное богатство. Я чувствовала бы себя уверенней, будь ты победнее: тогда ты мог бы больше отдать. Я знаю, невыносимо жить без любви. Однако это всего лишь такой способ жить. Я прекрасно понимала, что делаю. Я была так несчастна, что мне необходимо было помочь кому-нибудь. Я попыталась помочь вам обоим. Это эгоизм с моей стороны, знаю… И еще. Ты говорил о братстве, помнишь…

— Конечно. Это единственное, на что никогда еще не решались мужчина и женщина. Не приспособлены.

— Я не хочу превращать любовь в служение. Это слишком тяжкий груз.

— Но это наш единственный груз. Не плачь.

— Мишель, так жить невозможно.

— Да? Тогда ты правильно делаешь, что плачешь.

— Женщина не может жить только мужчиной, а мужчина — только женщиной.

— Ничего не могу поделать. Ты для меня биологическая необходимость. На клеточном уровне.

— В тебе скорее говорит твоя вера, абсолютная, отчаянная и дикая, нежели то, что мы вместе можем сделать с нашей судьбой…

— Да.

— Когда находишь в человеке такую потребность любить, то уже перестаешь понимать, существуешь ли ты для него сама по себе, любят ли тебя или ты просто предмет культа… Я тоже должна жить. Я не хочу принимать твою религию. Нам не нужно никого боготворить, Мишель. Обожествление всегда требует святости, а святость… нас уже ею закормили. Мы сыты ею по горло, и, может быть, шлюхи сегодня имеют в большей степени право голоса и могут больше нам сказать, чем святые.

— Ты, как я вижу, пережила ужасную ночь.

— Я ее пережила, Мишель. И еще я помогла другой женщине. Теперь я уезжаю. Уезжаю, потому что ты пьян от горя и потому что я даже не знаю, кто ты на самом деле. Слишком много сейчас отчаяния, паники в тебе… да и во мне. Так было бы слишком просто. Однажды, когда мы уже начнем потихоньку забывать о пережитом, когда мы опять станем собой, мы встретимся… и познакомимся заново.

— Отрезвев…

— Да, и все будет гораздо сложнее. Мы посмотрим друг на друга, скрывая удивление. Ты скажешь про себя: «Не может быть!» А я: «Нет, это не он, это невозможно…»

Она рыдала. Я был счастлив. Мы уже вместе.

— Лидия, уезжай и ни о чем не тревожься. Уезжай так далеко, как только сможешь. Не возвращайся, пока не улягутся твои сомнения. Встречайся с другими. Живи случайными знакомствами. Не бойся, это ничего. Я жду тебя, когда бы ты ни вернулась.

— До скорого. Можешь жить у меня, если хочешь.

— Нет, представь себе, я не выношу иллюзий. Уезжай. Я постараюсь отрезветь.

Она рассмеялась:

— Смотри не перестарайся.

— Можешь не волноваться.

Выйдя на улицу, я остановился перед цветочной лавкой. «Какие цветы она любила? — Все». Ей нравилась сирень, но нам придется подождать до весны. А сейчас мне нужно было дотащить свое тело до дому, помыть его, накормить, одеть во все чистое и поместить в витрину, к остальным таким же, может, оно еще послужит. Прохожие как-то странно смотрели на меня: призрак мужчины без женщины казался чужим в этих краях. Сквозь крыши проглядывало другое солнце. Я чувствовал, что мир пытается снова втянуть меня в свой круговорот, но это уже было делом вечности, вселенной, космического времени, а небо притворялось, но его выдавала необъятность, потому что настоящее небо — маленькое, с ладонь. Я удивился, увидев вокруг столько достойных и гордых мужчин, чьи взгляды не просят подаяния, столько женщин, в чьих глазах нет мольбы. На тротуаре какая-то девчушка в задумчивости глядела на свалившуюся с ноги туфлю, которую она старалась снова надеть. Трудная задача, без посторонней помощи не обойтись. Она подняла голову и серьезно посмотрела на улыбающегося господина, склонившегося над ней: он мог при-

годиться.

— Никак не могу надеть туфлю, — сказала она. — Попробуй?

Я встал на колено и прекрасно справился с заданием. Белокурый восторг коснулся моей щеки, и я почувствовал такое нежное, легкое дуновение, что закрыл глаза.

— Спасибо, ты хороший. Я живу напротив.

Она внимательно посмотрела на меня и решила, что я еще на что-нибудь сгожусь. Взяла меня за руку.

— Идем, — сказала она. — Я помогу тебе перейти улицу.